АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

Хатынская повесть



Алесь Адамович

ХАТЫНСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Я выскочил из машины и начал пробираться между микрофонами.
– Лейтенант Келли! Вы действительно убили всех этих женщин и детей?
– Лейтенант Келли! Как себя чувствует человек, который убивает женщин и детей?
– Лейтенант Келли! Вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей?
– Лейтенант Келли! Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей…»
Из «Исповеди» американского лейтенанта Уильяма Келли

«В Белоруссии уничтожено более 9200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы».
Из документов второй мировой войны

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей».
Обращение Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева к людям Земли из космоса 22 июня 1971 года.

… – Тут уже целый взвод! – громко произносит человек в темных очках с белой металлической палкой в руке. Мальчик в голубом плащике, вскочивший в шумный автобус впереди него, высматривает свободное место.

Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину; глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное книзу, некрасиво заостренное, зато лоб очень широкий и, как у ребенка, выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого.

– Папа, там место, – говорит мальчик в прозрачном плащике и касается сразу вздрогнувшей ему навстречу руки.

Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась – как дно. Голоса, веселый крик слишком торопливые.

– Гайшун! Сюда, браток!

– К нам, Флёра.

– Сюда давай!

Человек с врезанной тихой улыбкой слепого кого то дожидается. Металлическая палка сухо, пустотело звякнула: слепой задел стойку.

На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме.

– Это куда автобус?

– В Хатынь.

– Куда?

– В Хатынь.

– А! – неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок.

В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье с сумкой и плащом болоньей на загоревшей руке. Поднялась на ступеньку, смуглое лицо ее улыбается рядом с коротко остриженной, совершенно белой головой слепого.

– Глаша, к нам!

– Сюда садись, в третий взвод!

– Надоели вы ей в лесу! Верно, Глаша?

Женщина, произнеся негромкое *«здравствуйте»*, коснулась локтя слепого, и он пошел через автобус. И сразу стала заметна связывающая их неторопливость, напряженная плавность, какая бывает у двоих, несущих одно полное ведро.

– Сюда, папка, тут место, – громко позвал мальчишка, который уже устроился спиной к кабине, подетски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя.

Очень моложавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи.

– Флера, с моей посиди. А я с Глашей.

– Костя, – укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся такая беленькая, приветливо улыбнувшись слепому, – не мешай человеку пройти. Какой же ты!..

Человек в темных очках привычно нес руку впереди; с ним здоровались, трогая худые пальцы, они чутко вздрагивали.

– Живем, Флера?

– Это кто? Ты, Стомма?

– Узнал? Я, братка, я это.

– А это чья голова?

– Рыжего. Помнишь такого? Подай голос, Рыжий.

– Покажись, – рука слепого вернулась назад, – покажись! И правда – Рыжий!

– Здравствуйте, Гайшун. – Пассажир приподнялся, неловко, как детскую, пожал руку слепого.

Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа, она тоже улыбается, но ни на кого не смотрит, тогда как черные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос.

Руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами. Ремешок от фотоаппарата раздваивает его мягкое плечо, и весь он какой то выпирающий, овальный в своем новеньком синем костюме.

– Не узнаешь Столетова?

– И ты тут? – удивился слепой.

– А где мне быть? – Столетов обиделся.

Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который, как переросток за партой, сидит вполоборота, загораживая проход.

– Здравствуйте, – негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил: – Здравствуйте, Флера.

От его голоса на какое то мгновение снова открылась – как близкое дно – тишина.

Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшуна за плечи и быстро провела его вперед. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем.

Мальчишка позвал:

– Тут лучше, папка.

– Вот и сиди! – оборвала его мать.

У кабины – лицом ко всем – удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру. Но он тоже не сел там.

… Косач! Это его голос. Уверенно тихий: человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи.

А какой сделалась Глашина рука – точно из под машины меня выхватила!

Какой он теперь, Косач? Во всяком случае, не слепец, как ее муж.

Мотор и дребезжащее под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые веселые голоса долетают, случайно сцепляясь и переплетаясь. (*«В прошлом году… да уже внуки есть… бомба разорвется, облако взовьется… ну, Костя, какой же*

ты! Дай людям поговорить… я говорю, что косачевцы везде… нет, я ему скажу, нашему Летописцу, этому… Эй, Столетов!.. Экзамен сдает в иняз…»)

Нереально, невозможно близкие голоса из далекого далекого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня, солоноватые, обжигающие…

Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю начштаба, Стомму, Рыжего, Столетова…

Костя, наш начштаба – все такой же мальчишеский голос, – вламывается сразу во все разговоры: хохочет, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова (*«Деда не забыли?.. Столетов, сними нас для истории. У тебя это здорово получается… Дед, ты у кого такую шляпу раздобыл?.. Мэнш!.. Не мешай, жонка!..»*).

Да, он такой, наш Костя начштаба, с ним и среди чистого поля будет тесно: каждого толкнет, обнимет и тут же осмеет. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему… Было. Но его любят (любили): дело свое понимал, воевать умел. Не хуже Косача.

Косач тут, рядом. За спиной у меня. *«Здравствуйте!..»* – поздоровался сначала и с Глашей, но что то прочел на лице Глаши и тут же отделил: *«Здравствуйте, Флера!»* Вон какая сделалась Глашина рука! Испуганная и твердая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись, я и не вижу, а знаю.

Такой же он громадный, сильный? Голос, во всяком случае, тот же.

Мне всегда хотелось понять: замечает он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой, казалось, непроизвольную?

– Я ему прямо сказать могу! – голос откуда то сзади. – Мы его, примачка, из за печки вытащили, в партизаны силой приволокли, а теперь…

О ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже подзаводят человека, это у нас всегда умели.

– Секретарша не пустит.

– А ты по телефону ему. Верно, Зуенок? Или телеграммой.

Конечно же, это он, Зуенок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуенок всегда помнил, и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришел в партизаны. И кто какого уважения заслуживает. Всю семью Зуенка немцы выбили еще в сорок первом, когда он ушел в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот, который мы едем открывать. Я впервые еду: когда мог, глаза были, встречи такие еще не практиковались. А Зуенку так даже доставалось за попытки собрать нас: *«Какие такие встречи? Кому это нужно?»*

– До ночи ползти будем с такой ездой! Я на своем хозвзводовском быстрее поспевал.

– О, дед наш к самолетам привык!

Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге в партизанские края наши, – тоже инициатива Зуенка. Для меня это особенно важно – побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то, что там сейчас, а что было. Что оно такое, наши Хатыни, я знаю. Это я знаю…

А хозвзводовский дед все беспокоится, поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли. Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест: сипит, дует, крякает за каждым словом. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как то сумел, собрал Зуенок всех нас, и городских и с

района, в этот автобус.

– Ничего, – отзывается кто то (кажется, Рыжий), – больше нас ждали.

У Рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевоенная, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом да обещал: *«Вот как двину левой!»*

– А какой хоть памятник, а, Зуенок? – спрашивают с заднего сиденья.

– Курган, школьники насыпали.

– А какой бы ты хотел себе? – кричит Костя начштаба.

– Я что то не подумал про это, когда ходили – помните? – по горящему болоту. Как на веревке ходили по кругу.

Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием.

– Ребяткам все одно теперь. (Дед.)

– Все, да не все! (Стомма)

– Под таким, как в прошлом году, я не лег бы.

– Зуенок, учти пожелания! (Костя начштаба)

– Нет, а помните Чертово Колено, как ходили по кругу по дымному болоту? Рассказываешь – не верят люди!

Кто это горелое болото, Чертово Колено, вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково хитрым покашливанием. Ведмедь, он?..

Ну конечно же! Какой он теперь, без пулеметных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично: ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, запихивай в магазин, в патронник. Уже для той, для первой мировой войны придумана была удобная обойма: поставил в паз, надавил большим пальцем – и сразу пять патронов в винтовке. Но Ведмедь

покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девчат, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных, украшенных оружием и ремнями разведчиков и адъютантов, а чтобы хоть покормили. Тетка сразу видела: человек воюет! А может, и тогда кино сидело в чахлой груди Ведмедя? Как то пошли мы в кинотеатр, начался фильм, и вдруг смешок по залу: *«Лев… Ведмедь…»* Глаша тихонько воскликнула: *«Ой, Флера, наш Ведмедь Лева директор этой картины!»* В кино я обычно с Сережей хожу. Мы заходим в помещение к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением, зачем незрячему кино.

Сначала Сережа шепотом объясняет, что там, на экране, пока не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм, как радио. Некоторые фильмы будто для меня сделаны – все объяснено вслух, громко.

Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном – и только дыхание сотен людей, как перед вскриком во сне, – вот тогда включается, загорается мой экран. Под внезапные крики, выстрелы с их экрана я вижу свое. То, чего никто не видит…

… – А вы, дядя, тоже партизан? – пристает Сережа к Столетову, который перешел к кабине и теперь, я слышу, сидит напротив меня.

– Тут все партизаны, мальчик. – Вопрос Столетову не понравился. – А ты пионер?

– Конечно. – Сережа тоже возмутился.

– Не вывози дядю своими ботинками, – предупреждает Сережу Глаша. С того мгновения, как она увидела Косача, все в ней, я по голосу слышу, словно затвердело.

– Вы тоже косачевец? – добивается Сережа. Он если пристанет!..

– Э, не е! – обрадовался вопросу Столетов. – Я из отряда имени Сталина.

Столетов теперь сидит лицом к Косачу, они видят друг друга. Или Столетов, по обыкновению, вверх косит? Глаза его странно косят – к небу, к потолку.

– И папка твой никакой не косачевец, а имени Сталина. Это одно и то же: по бумагам мы – отряд имени Сталина, а в деревнях, наверное, и сейчас помнят косачевцев.

Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов даже среди таких разных, как партизаны, людей.

Сначала, когда привели в наш Замошьевский лагерь нашкодившего инструктора онемечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о *«Гитлере освободителе»*, это был рыхлый бледный человек с глазами, раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде (доказал, что снабдил десантников пишущей машинкой и еще чем то канцелярским), и тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласные, как оказалось, с натурой столетовской.

На смену косящему испугу хлынул в Столетова, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдет неслышно, завороженным шагом, станет перед Рыжим, Зуенком или Ведмедем и смотрит влюбленно косящими к небу глазами. Точно головы их где то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит!

– Ты чего? – удивился партизан с непривычки.

– Я?.. Ничего я… Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню.

– А что, принеси! Принеси, братка.

Вернулись однажды с какой то операции, а Столетова не видно, нет ни в нашей землянке, ни поблизости. В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось,

Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее, летописец. Убедил кого то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, все готово.

Больше Столетов перед Ведмедем не вздыхал, косящие глаза его перенеслись на других, нас они както уже не вбирали.

Странные и в самом деле глаза у этого человека. Будто мерку снимает: приставит тебя к чему то невидимому, потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник, спинку, но в глазах его приговор, даже обида – э, не, не дотягиваешь! До истории, что ли? Еще раз потянет тебя кверху черными горящими (порой кажется – сумасшедшими) глазами, а в них улыбка. То онкая тонкая! Нас, мол, не обманешь… И уже окончательно вскинет глаза к небу, оставив тебя, как перед умчавшимся лифтом. Всякая фраза его вздергивается на дыбы восторженно уличающим: *«Э, не е!»* Скажи ему, что сейчас двенадцать, он тут же уличит: *«Э, не е! Без двух минут!»*

Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из косачевского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись, не помог Столетову и опекун бригадный.

Дошло до Косача (в деревнях пожаловались), что *«какой то косой ваш»* дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого то к стенке примеривал.

– Мы тут воюем, – оправдывался Столетов, – а какой нибудь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал.

– Воюем? – переспросил Косач. – Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на *«губу»* его!

«Историю» Столетов сочинил, да только совсем не ту… Соединились с армией. Одних – на фронт, других –

хозяйство поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работать в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано (особенно про Косача, да и про других тоже), что, когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам водили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали (и порой очень горячо и открыто) о многом, о чем лишь после пятьдесят третьего заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что то слышал. Но он, кажется, перемышьячил: одна смертельная доза мышьяка – смертельна, а десять зараз, случается, лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол отряда с фронта! Кому то неглупому попалось дело. Столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за *«Гитлера освободителя»*. Долго о нашем Летописце не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться: очерки по радио, статьи. Ожил! Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники (те, которым он передал пишущую машинку). Скоро и на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюбленность в косящих к небу глазах Летописца. Первое время, думаю, не церемонясь, напоминали ему про *«историю»* бригады, но похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны.

– Э, не е, – тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса, – не е, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие нибудь… (*«косачевцы»* все же не произнес).

Уже песни поют, две или три одновременно.

Сережа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка – глянул однажды и внезапно понял! – закричал, заплакал, точно в это мгновение со мной все и приключилось: *«Кто тебя, папка, ты не бойся, скажи!*

Немцы, да, фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побежал в свой угол, схватил красную заводную мельницу и стал ее, громко плача, ломать, бросил об пол. Глаша и я убеждали его: игрушку делали другие немцы, совсем другие…

С того времени дня не проходило, чтобы Сережа не заговорил о моих *«глазках»*. Мы с ним обсуждали план, как меня вылечат и я его, конопатого и черноглазого, увижу. Сережа неуверенно смеялся, когда я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю.

Первая операция – за три года до этого – была безрезультатной. Я решился снова, на вторую, ради Сережи. Они с Глашей приходили ко мне в клинику, много говорили, Сережа возбужденно смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку и я увижу его, все увижу снова. А потом меня увозили домой все с той же темнотой. Глаша тихонько плакала и гладила мою руку. Сережа сидел возле таксиста, впереди, и я его не слышал.

Больше о моих *«глазках»* Сережа никогда не заговаривал. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески изучающе он смотрит на мое лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели, но я не согласился – тоже из за Сережи.

Сегодня Сережа очень оживлен, весел: он едет в партизаны, кроме того, вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка, наоборот, можно слушать, расспрашивать.

Мотор заглушает голоса в автобусе, мы едем лесом, но, когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений. И все стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время – четверть века минуло, как я их видел.

Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире еще существовала такая вещь, как зеркало, а в зеркале – бледный узколицый человек с воспаленными веками, с побелевшими висками и глубокими дугами у рта, всегда удерживающими виноватую улыбку.

Глаша пошла за такого замуж, но она, наверное, в каком то другом зеркале меня видела, не столь безжалостном. В ее памяти я связан с ее девичеством. С очень многим связан. Вот и с Косачем тоже. Однако как она его ненавидит! Или боится. Себя боится. Нет, это я боюсь. Трусливый и завистливый слепец! И неблагодарный.

Пока я еще был, как все (лишь время от времени начинали вдруг болеть, краснели глаза), жизнь с Глашей у нас не очень ладилась: то, что нас сблизило, то и разделяло, мучило. Наше совместное партизанство, Косач… Не говорили мы, не вспоминали вслух, но это присутствовало. А когда со мной случилось самое страшное (в течение полугода), Глашу как подменили – ее голос, ее руки, касания. И она сама захотела, чтобы родился Сережа.

И снова рядом Косач! Он у нас за спиной, всю дорогу за спиной. Глаша ни на миг не забывает этого, я чувствую. Вон как она напряженно молчит! Я сам настоял, чтобы ехать на эту встречу, когда Зуенок нам написал. Глаша не хотела, а мы с Сережей настаивали. Я – в отместку за все прежнее. Себе в отместку. Благодарность слепца…

В автобусе громкий веселый спор. Мне всегда легче, если люди вот так увлечены, и тогда не они меня, я наблюдаю.

– При нем и этот не рыпался, сидел в приемной как миленький. (Зуенок.)

– Во во, один перед другим! (Дед.) У нас в селе был

один…

– Суворов о Китае говорил… Вы знаете, что говорил Суворов? Спит – и слава богу: не будите себе на беду!

И он тут, Илья Ильич, наш комроты! Цыганская небольшая бородка, обязательная книжка в кармане или в сумке… Где он брал те книги, одному богу известно: в деревнях уже последние библии докуривали!

– А я вам доложу, если еще не знаете (Костя начштаба), ихнего тоже давно на свете нет. Для этого кучу малу – культурную революцию – придумали. И чтоб глаза не продрали, каждые семь лет – вали всех в кучу малу. Не верите – спросите Столетова!

– Это же Китай! – подхватил Илья Ильич. – Император, что Великую стену строил, объявил, что будет жить вечно. А потом взял да и помер. Целый год не хоронили, раз он так объявил. Посадили за ширму на трон, а чиновники, министры приходили и слушали, как он за ширмой молчит, угадывали его приказы. А запаха условились не слышать.

– Во! – воскликнул Костя начштаба. – Не то что наш Столетов!

– А что! – Столетов отозвался, будто и в самом делеимеет к этому касательство. – Я не оправдываю, но так тоже нельзя: раз – и все яйца об пол! Э, не е, так тоже не делают. Правду говорит Зуенок: при нем…

– Споем! – кричит уже Костя начштаба и тут же начинает: – *«А какая встреча будет у вокзала в дни, когда победой кончится война!..»*

Косач молчит, один он не втянут в шумный спор. Интересно, что он сказал бы и как, что он все эти немолчаливые годы думал.

Сразу после войны он работал в райисполкоме, потом его сделали директором торфозавода, потом – совхоза. Где сейчас, не знаю. И Глаша не знает. Плен, в котором

он побывал, а возможно, и папка Столетова на нем все таки висели. Да и он сам человек достаточно сложный, с неожиданностями. На партизанской встрече я впервые, но уже вижу (по разговорам, репликам, по его тяжелому молчанию), что к нему не очень бросаются. Ну а он – тем более. Общительным, компанейским он никогда не был, это не Костя начштаба. Видимо, имеет значение и то, что в памяти нашей Косач связан со многим, что не располагает к веселой болтовне, запрятано на самом донышке памяти. Война есть война, но возле Кости начштаба – это вполне партизанская, с шумом, анекдотами, с памятью о всяких казусах, война, возле же Косача вспоминается что то другое, более резкое, заостренное… В Косаче нет этого нашего, косачевского, партизанского шика, лирики партизанской, которая в других с годами все разрастается. Он вот и на встречу едет как чужой. Со стороны кто нибудь так и решил бы, чго он единственный тут не косачевец!

Слышал я или читал, что людей, знавших друг друга в обстоятельствах особенно мучительных, унизительных, потом не очень тянет к встречам. Изредка – да, но не более того. Трудно, невозможно жить с постоянно вскрытой коробкой, где все это запрятано. Такие люди вряд ли дружат семьями. Я сам знал двух человек, переживших Освенцим в одном бараке. В коридоре désinstitута, в курилке они встречались, иногда с подчеркнутой беззаботностью сверяли лагерные номера на руках (*«Я на 120 тысяч человек моложе тебя…»*), но из их разговоров можно было понять, что даже не знают друг про друга, кто на какой улице живет.

Да что толковать, я вот и Сереже не все стал бы рассказывать (даже когда студентом сделается), хотя, кажется, прятать, стыдиться нам нечего. На своих студентах я и убедился, что есть вещи, которые невозможно сообщить другим, кто не испытал чего либо подобного.

Услышали мои третьекурсники от кого то про случай,

когда командир во время блокады, среди немецких засад, чтоб не истребили отряд, будто бы пожертвовал ребенком, который все кричал на руках у матери. Пересказали мне возмущенно. Но и вопросительно: как я тут извернусь с моей *«универсальной наукой психологией»*? По их убеждению, после такого случая отряд обязательно распался бы: люди, предав, потеряв самую цель борьбы, возненавидели бы друг друга и самих себя, собственную жизнь, купленную такой ценой. Возмущаясь вместе с ними самой возможностью подобного случая, я все таки не согласился, но кончилось бы именно так. Напомнил про *«защитный механизм»* психики, без которого война вообще немыслима, непереносима была бы для человека…

Я не видел лиц моих студентов, но впервые почувствовал – в интонации одних, в молчании других – не просто несогласие, враждебность. Будто им сама слепота моя, мои черные очки неприятны, отвратительны. Нет, они не соглашались ни на какую *«защитную реакцию»*, ставя себя на место того отряда!

И слава богу! Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналось вот так же. И благословенна река, начинающаяся чистой, светлой криничкой; даже если бы криничка знала, что низовья реки загажены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить. Но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту изначальная криничка, подземные ключи…

Да, а ведь моя первая партизанская любовь – вовсе не Глаша. И Глашу то я полюбил отраженно от Косача. Косач! Мальчишеская, смешная, но с какими то мечтаниями, фантазиями, обидами и радостями – иначе это и не назовешь как любовью.

Еще до того как пришел в отряд, наслышался я: *«Косачевцы, ого, не всякого возьмут к себе!»*, *«Вооружены, как десантники!»*, *«У Косача одни*

кадровики, воевать умеют!», «Косачевцы бой ведут», «Косачевцы... косачевцы...».

Мечталось стать не просто партизаном (их немало проходило через нашу деревню), но обязательно косачевцем.

Оружие, без которого к ним и не просись, я добыл. А способ подсказал мне Федька Воробьиная Смерть – рябой, как воробьиное яйцо, сын колхозного бухгалтера. Ему было всего лишь четырнадцать, на два года моложе меня, и, чтобы свести на нет мое постоянное в этом преимущество, Федька все время выискивал, чем бы похвастаться. На этот раз он достал из дупла две гранаты *«лимонки»* и показал мне, стоявшему под деревом:

– Что, видал, кум, солнце?

Меня это так поразило, что он не выдержал и решил меня доконать. Повел к болоту, из под елового пня выворотня вытащил завернутое в кусок брезента то, о чем я давно мечтал: ржавую, с подгнившим прикладом, но самую настоящую винтовку! Теперь и дураку было ясно, что мое превосходство над ним в два года – недоразумение и наглость.

– Ладно, – сказал Федька, подобрев, – у них такого добра много.

Я не понял.

– У покойничков, – пояснил Федька. – А что?

Я невольно посмотрел на свои сразу растопырившиеся пальцы, которые вдруг сделались липкие. Вот отчего дерево на винтовке такое черное, точно обгоревшее!

Назавтра мы отправились к могилкам. Их много было в сосняке на песчаных горах. Тут зарывали в сорок первом. Где убит, там и похоронен, каждый в своем окопчике. (Бои у нас на Полесье гремели долго: уже Смоленск немцы забрали, а тут, в лесах, в болотах, их сдерживали бронепоезда и конница усатого Оки

Городовикова, как в гражданскую.)

Желтые песчаные бугорки окопчиков могил осели, их затянуло вереском, как маскировочной сеткой. Федька сел под куст, закурил.

Я стал перед ним с лопатами, готовый попросить: *«Лучше не надо!»*

– Ну? – спросил он хмуро.

Я не понял.

– Нанял ты меня? Арбайтен!

Я, наверное, покраснел.

– Дай! – он вырвал из рук лопату. – У покойника зубы не болят!

Желтый влажный песок, яркий, как свежая кровь, постепенно окружает нас, а мы все погружаемся в землю. Я вдруг выскочил наверх: показалось, что земля уходит, скользко поползла под босыми пятками.

– За водичкой побежал? – презрительно кричит Федька.

– Тесно… вдвоем, – поясняю, давясь липкой слюной. Что то черное выбросил Федька на желтый песок: как горелая бумага.

– Немецкий… пуговицы немецкие… Нет тут ни черта!

– Почему? – принуждаю себя интересоваться, хотя мне одного теперь хочется: уйти, убежать. Такое чувство, будто потерял что то навсегда.

Как хозяйка картошку в ведре, Федька сечет лопатой в яме, отыскивая металлический звук.

– Я же говорю! В ихних не бывает, проверено. Своих они закапывали без оружия.

Деревянный какой то звук громом отдается в моей черепной коробке. Федька взглянул на мое лицо.

– Помощничек! А ну засыпай! Нанял?

Отошел в сторонку и лег с закрытыми глазами, а я стал сыпать уже подсохший песок в яму.

Лишь в третьей яме лопата (не его, моя) звякнула. И тут я забыл про все.

Винтовка лежит на свежем песке, а мы стоим над ней. Металл от ржавчины желтый, как весенний курослеп, а дерево до угольной черноты напитано запахом и сыростью смерти.

– Бачишь, кум, солнце! – кричу я.

С этой винтовкой я и попросился к косачевцам. (Брезентовый ремень пришлось сменить.)

Начал не с мамы, зная, как ей трудно такое решать, а прямо с дела. Два раза ходили (и Федька с нами) телеграфные столбы спиливать. Знакомым ребятам косачевцам за то, что брали нас с собой, заплатили патронами. И это было у Федьки припрятано. Но Федьку снова мучила зависть:

– Хорошо тебе, у тебя батьки нету.

Но у меня была мама. Собрался с духом, призвал всю свою закоренелую безбоязненность двоечника и сообщил маме, что сын ее – партизан.

Сестрички мои, семилетние близнята, рассматривали внезапно объявившегося в их семье партизана с восторженным и жалеющим ожиданием: сейчас он будет плакать. Мама наша на ремень и даже на палку скорая. Потом сама плачет, но раньше поревешь ты.

На этот раз первая заплакала она. Тихо, беспомощно, глянув почему то на плоские, как блюдечки, мордочки близнят, окинув взглядом стены, углы хаты, точно тут же надо убегать, все бросать.

Ушла на кухню, не проронив ни слова. Что то делала там возле печки и плакала, а мы шепотом

разговаривали.

– А тебе коня дадут?

– Сам добуду. У косачевцев сами все добывают.

– И нас покатаешь? Огород наш засеешь? А то мамке тяжко будет.

– Приеду и сделаю. Теперь вы – партизанская семья.

– Мамка плачет.

– Она всегда… Когда и папа на финскую уходил… Вы не помните, малые были.

Близнецы наши красавицами не считались, даже мама говорила с жалеющей улыбкой (когда обе рядышком, трудно не улыбаться):

– Господи, растут вековухи, мало одной, так надо, чтобы две!

Я любил их плоские губастые личики, хоть часто и орал на них, как злой мужик, когда они пытались увязаться за нашей ребячьей компанией. Но в своем дворе мы были друзьями. Кого хочешь тронет это – сдвоенная покорная улыбка на добрых мордашках, сдвоенное уважение к старшему брату!

И вот теперь, когда мама заплакала и так посмотрела на них, на стены, я почувствовал себя виноватым. Впервые подумалось всерьез, чем все может кончиться. Теперь и не партизанской семье уцелеть, выжить нужно большое счастье, везение. А на партизанские у немцев охота круглый год.

– Давай пришью тебе батьков воротник. Залезь на чердак, принеси, – сказала мама, вернувшись от плиты к нам, сразу затихшим. – Все равно черт какой найдет да заберет. Или спалят.

Я бросился в сени, взлетел по лестнице. В тряпье возле лежака раскопал рукав от старой фуфайки, сильно

пахнущий табаком. В рукаве наша единственная фамильная ценность: каракулевый воротник, завернутый (от моли) в табачные листья.

Мама пришивает поблескивающий черными завитушками воротник к моему рыжему школьному пальто, а мы сидим возле нее, связанные тишиной, ожиданием. Мама зябко повела своими прямыми худыми плечами, я побежал и принес из шкафа старый теплый платок. Когда платок у нее на плечах, фигура мамы не такая резкая, и вся она становится добрее, печальнее, задумчивее. Вот такая – под платком, в прохладном сумраке – она рассказывала нам про городское житье, про свою молодость, про отца. (Я – городской, а сестренки родились в деревне. Отец сам попросился работать в МТС, директорствовал до самой финской войны. А потом случилось что то непонятное, ошеломившее – он оказался в плену. Было два письма откуда то с севера уже перед новой войной.)

Мамин платок да каракулевый воротник, купленный отцом себе на пальто, – все, что оставалось от нашей *«директорской»* жизни. Городские вещи мы начали продавать еще до войны.

Кончила мама работу, оглядела мое пальто с роскошным воротником и даже улыбнулась:

– Как раз тебе пригодился.

Мы, обрадованные ее улыбкой, бросились примерять пальто: близнецы держали его, как шубу барину, а я на них покрикивал. Каракуль пропах табаком, точно его уже носили. Наверное, и маме то же самое почудилось:

– Папкиным табаком будешь пахнуть.

Я нарочито весело и громко втянул воздух, понюхал – испугался, что она снова заплачет. Сестрички тоже сунулись, а я велел им раньше вытереть носы, и они послушно вытерли.

Первые дни и недели в партизанском лагере были для

меня сплошным праздником узнавания. Дисциплина в отряде была почти армейская, этим косачевцы гордились перед соседями. Но все равно это были партизаны – все у них с выдумкой, с веселой руганью, с патефоном, при котором одна на все настроения пластинка: *«Брось сердиться, Маша»*. Эта *«Маша»* по разному звучала, когда все хорошо было и когда убитых привозили и партизаны ходили по лагерю примолкшие, мрачные.

Очень любили мы посмотреть на себя со стороны – косачевцы! Однажды пойманный полицай стал рассказывать, как он прятался в погребе и оттуда слышал нашу атаку, что кричали, какие слова. Специально ходили послушать полицая, а он, поняв, что попал в точку, вовсю сочинял самые заковыристые ругательства в свой адрес.

Воевать весело – это считалось обязательным. Только новички про бой рассказывали серьезно, подробно, бывалые же косачевцы – как про забавные, почти нелепые приключения. Иной примчится, едва ноги унес, глаза – с яблоко каждый, а уже придумывает, ищет в случившемся смешное, точно с немцами в какую то злую, но веселую игру играл. Не получилось, врезал немец – тоже смешно! И только когда убитых привезут, лучше не подходи, если тебя в том деле по какой то причине не было. Окрысятся как на чужака. А вечером тихо поют песни или задумчиво слушают, как довоенный баритон уверяет Машу, что *«жизнь прекрасна наша в солнечные дни»*.

Косача в отряде уважали, пожалуй, побаивались. Но и побаивались тоже очень по партизански: мол, так и надо с нами, не ходи, такой сякой, босой, умей вывернуться даже из под Косача, если ты косачевец!

И все таки чего то в нем не понимали, это было заметно даже мне. Да, жесткий, слишком даже, зато смелый, и косачевец знает, что, раненного, его не бросят, как случается у других, а уж из засады сорваться, бежать без команды – такого у нас не бывает. Храбрый не побежит потому, что он храбрый, а трус потому, что он

трус и знает, что судьбу его решать будет Косач.

Но эта его непонятная, ироничная ко всему – и плохому и хорошему – улыбка! Она всех и все обидно уравнивала: кажется, Косач видит, помнит тебя только в тот момент, когда ты у него перед глазами. И всякий раз как бы впервые замечает.

Впрочем, других это, возможно, мало озадачивало. Но я, я то был влюблен!

Вот я стою на посту возле штабной землянки. Лагерь медленно засыпает, расседланные лошади под навесом звучно перебирают сухой клевер. Кто то идет к штабу, гремя подмерзшими к вечеру прошлогодними листьями. В холодном сумраке узнаю крупную, в коротком кожушке и ушанке фигуру Косача.

– Кто идет? – окликаю грозно, радуясь, что он слышит меня, мой партизанский окрик, но я стесняюсь немного. Ведь я узнал его и он знает, что я узнал его, вроде поиграть предлагаю. – Пароль! – требую уже потише.

А он идет на меня из темноты, молча, не сбавляя шага. Я клацаю затвором, но тут же говорю:

– Это вы, товарищ командир?

Как еще не закричал: *«А, узнал, ага!»*

Косач быстро подошел, презрительно, как палку, отвел в сторону мою винтовку.

– Почему не стрелял?

Игра так игра, вон какую мне предлагает!

– Я сразу узнал вас.

– Раз не остановился, не назвал пароля – бей!

– Я же…

– Не имеет значения. – Косач близко и внимательно

взглянул в мое растерянное и обиженное лицо, усмехнулся: – Двое суток гауптвахты.

Наверное, чтобы уяснил, что война – игра всерьез, свирепая.

Но и тут косачевцы делали поправку на характер своего командира. Днем на гауптвахте действительно скверно, неуютно: нары из ольховых жердочек убираются, стой или сиди на корточках в промерзлой землянке, дыши в воротник, пропахший отцовским табаком… Зато ночью! Ночью у тебя все привилегии, подчеркнутая заботливость караульного взвода.

Интересно, рассказали Косачу хотя бы после войны, как кормили гауптвахту из их штабного котла?

Я сам в этом участвовал, когда выходило стоять на посту возле кухни. Стоишь и знаешь, что скоро явятся. (Звяканье котелков вместо пароля.)

– Смотри хорошенько, если поставлен! – всхлипывает смешком какой нибудь Рыжий или Зуенок, а у самого уже рукав закатан до локтя. Выхватывает из меньшего котла куски мяса, дует на пальцы, а ты, часовой, ему еще и котелки держи. Один – для гауптвахты.

… Косач сидит у меня за спиной тот же, но и совсем другой. Впрочем, я не знаю какой.

Что то свое, хорошее и плохое, отдавали мы тогда этому человеку, что то наше он нес в себе.

А сейчас свое отняли, забрали и он вроде тот, прежний, но уже и другой.

По разному это люди переносят. Некоторые страшно удивились и обиделись: был хозяин над жизнью и смертью, а теперь каждый имеет право жить, будто тебя и не было над его волей, судьбой. Иной живет и все прикидывает: да вчера, да я мог, да тебя бы!..

Косач не кажется мне таким. Он умел командовать. Но не думаю, что весь был в этом. Его ироническая, порой даже неуместная улыбка – это какой то взгляд со стороны на то, что он делал так умело и твердо. Пожалуй, счеты у него были не с одними немцами, фашистами, но и еще с чем то. С самой войной, что ли? Не оттого ли он менее косачевец, чем все мы, не сближало его с людьми дело, которое он так точно и твердо делал. Да, мы ему отдавали что то свое, нес он в себе и наше. Но не веселую отчаянность, как Костя начштаба, а что то совсем другое. Может быть, человеческую потребность мстить войне войной же. За то, что тебе с ней выпало спознаться.

Если я, конечно, не усложняю Косача. Но и упрощать его тоже нельзя.

Да и то сказать: теперешнего Косача я почти не знаю.

Всю дорогу он молчит. Вдвоем с Глашей молчат. Когда она его увидела, на лице ее, возможно, ничего не отразилось. Лицом люди учатся владеть, но рука скажет все – на моем плече была ее рука.

Я всегда считал себя уродом, даже когда глаза были. Будто может человек с глазами быть уродом. Впрочем, до встречи с Глашей меня это не очень занимало. А когда в отряд попал, так даже очень себе нравился. Винтовка, граната – партизан! Какой еще красоты от человека хотеть!

А потом глянула на этого партизана девочка, засмеялась на всю улицу – и все переменилось.

День тот выдался, как специально, сырой, холодный, грязный. Сено подо мной, которое я взял на залитом талой водой лугу, тоже было сырое, тяжелое. Лежа на высоком, ничем не стянутом возу, ехал я по деревенской улице, высматривая, в какой хате мне пообедать. И вдруг увидел Косача верхом на сильном, злом жеребце, а за ним адъютант в ремнях и гусарских бакенбардах. Пока я любовался нами, косачевцами , незаметно и легко (мысленно, конечно) пересадив

Женьку адъютанта на свой воз, а сам вскочив на его коня, я совсем забыл про своего широкозадого Геринга, а он, фашистская морда, мне и подстроил. Внезапно я ощутил, что воз накренился, что скольжу, сползаю вместе с сеном, медленно и неотвратимо – прямо в весеннюю лужу.

– Вали, суше будет! – крикнул Женька, хороня меня в глазах Косача, который сердито на нас оглянулся. А все мы оглянулись на громкий смех девочки. Я готов был убить и себя, и Геринга, и эту хохотунью, которой именно в этот момент обязательно надо было появиться. В огромные разбитые сапоги, как розовые свечи в подсвечник, воткнуты длинные ноги аистенка, в грациозно отставленной руке – грязное ведро, на другой руке – большая тяжелая рукавица из овчины. Собирает для свиней добро, что лошади теряют, а самой вон как весело!

Глаша любит вспоминать этот случай, особенно веселит ее мое тогдашнее возмущение тем, как по балетному она держала свое ведро. Но, оказывается, рассмешил ее Женька, его гримасы и бакенбарды, а вовсе не я со своим возом.

Косач и Женька завернули в ее двор, они тоже решили передохнуть. А мне уже было не до того.

Жила Глаша с матерью, еще молодой статной женщиной, отца своего знала только по фотографии, на которой он во весь рот смеялся. Откуда то с Урала приходили от него алименты. А однажды прилетела еще одна фотография, на которой целая гроздь таких же, как у отца, улыбок: Вера, Надежда, Любовь – далекие Глашины сестрички по отцу.

В деревне Глашу и ее красавицу мать называли Глашкойдесятитысячницей, Ульяной десятитысячницей. Случилось им везенье выиграть такую сумму на облигацию, даже в районной газете сообщалось про это. Вот тогда хозяина дома и завертело закрутило, аж на Урал закинуло.

Нравился Глаше сначала не Косач, а Женька, *«если бы только не такой рукастый»*. Они с Женькой ссорились, обливали друг друга водой, почти дрались и громко, сердито оправдывались, она – перед матерью, он – перед командиром: *«Пусть сам (сама) не лезет!»*

Летом сорок третьего года немцы взялись бомбить партизанские деревни. Глаша вдруг оказалась в нашем отряде. Ульяна упросила Косача, хотя у нас даже на кухне и в санчасти были почти исключительно мужчины. Мать Глаши справедливо рассудила, что в партизанском лагере все таки безопасней, чем в семейном, куда она сама переселилась вместе со всей деревней.

Вначале возле кухни да в санчасти стали замечать коротковолосую узенькую, как линеечка, девушку, застенчиво рослую и быструю. Для своих семнадцати лет она была довольно высокая, но с такими узенькими плечами, смущенно тянущимися кверху, такие у нее были радостные синие глаза, что порой она казалась совсем девочкой.

То, что пришло, пришло не сразу – после очередной *«блокировки»*, блокады.

Блокада кончилась, мы снова начали замечать многое в мире. Из блокады люди обычно выходили, как после изнурительной болезни: ослабевшие, но невероятно жадные к тишине, сну, смеху, голосам, дневному свету. День снова становился днем, а ночь – ночью, луна уже не была похожа на осветительную ракету, а человеческие тени – на могильные ямы.

Вот тогда мы и обнаружили, что возле нас живет *«командирша»*.

Прежний наш лагерь немцы разрушили, сожгли, жили мы уже в другом лесу, спали не в землянках, а прямо под деревьями или же в *«райских шалашиках»* – маленьких буданчиках из еловой коры.

Дневалишь под утро среди этого временного табора,

окруженного зябко, стыдливо белеющими елями, с которых содрана, снята кора, и внезапно заметишь, как в крайнем от дороги буданчике покажутся из под тулупа разутые ноги и тут же испуганно спрячутся. Голос Косача в буданчике неправдоподобно добродушный, а Глашин смех такой вдруг женский, глубокий.

Если Косач уезжал в эту пору, провожали его влюбленноревнивые взгляды, мой и Глашин. А однажды наши с нею взгляды встретились. Косач задумчивой трусцой проехал мимо меня, я взглядом проводил его и оглянулся на буданчик. Глаша сидела, зябко обхватив тулуп на коленях, глаза ее, потеряв за деревьями Косача, наткнулись на дневального. Не знаю, что мой взгляд сказал ей: кажется – так и быть! – разрешал и ей любить командира. На лице ее мелькнул испуг, и она спряталась в буданчике.

Вставала *«командирша»* теперь позже всех. Но я понимал, что это от страха перед нами, перед нашими улыбочками, взглядами. Все, чего Косач, возможно, и не замечал, теснило ее вдвойне, как только наступали утро, день.

Вот проснулся наш лагерь: кашляют, смеются, закуривают, умываются желтой, как холодный чай, болотной водой. Кто сухарь грызет, кто высек кресалом или с кухни принес огонь и развлекается, спасается от комаров костерчиком, а кто оружие осматривает. Ночь кончилась, но день еще не начался – самое время громко перекликнуться с другом через весь лагерь, обсудить или обсмеять что либо, коголибо.

В командирском буданчике будто и нет никого. *«Командирша»* появляется перед нами уже одетая и причесанная. Сторонкой проходит к бочке с водой, беззвучно, точно разбудить кого то боится, умывается под деревом. Чаще всего в аккуратных сапожках и сером немецком свитере, не закрывающем ее худенькой шеи, но вдруг появилось еще и черное платье – такое свободное на узеньких плечах, такое шелковое, нелепое. Ей хотелось перед нами быть как можно

взрослее, а выглядела она в этом длинном платье еще беззащитнее. И особенно эта ровная и неприятная, какая то чужая женская белизна, проступающая сквозь черный шелк!

Глаз не поднимает, губы сжаты, лицо заспанное и недружелюбное – *«командирша»*! Но кто нибудь, кто постарше, подобрее, окликнет ее или поздоровается – она вздрогнет, вся закраснеется испуганно радостно, а узенькие приподнятые плечи так и ходят, борясь с неловкостью, смущением.

Но когда Косач в лагере, забывает она и про нас, и про себя. Видит только его. Как дрожит тень, ловя настигающий ее луч солнца (вот вот посветлеет, растает в нем), так вспыхивала, светлела она, если поблизости был Косач.

Мы собираемся на операцию, общее построение отряда на заросшей мелким кустарником поляне. Все стоят, только мы, ездовые, сидим на тачанках. Высоко, нам все видно. Несколько комиссарских слов говорит перед строем Шардыко. Сколько помню его, всегда он ходил с перевязанной рукой или забинтованной головой: очень старательно отыскивали пули это маленькое подвижное тело. Костя начштаба однажды объяснил, отчего так получается:

– Шустрый ты очень, комиссар. За всех везде поспеть хочешь. По дождю бежать – все капли соберешь: и свои, и не свои. Привык в колхозе – от окна к окну. Нет, пусть каждый свое сам знает!

Косач слушает комиссарову речь, опустив голову, о чем то думая или просто дожидаясь, когда надо будет давать общую команду.

Глаша среди хозвзводовских и легкораненых ждет, я вижу, как она ждет его взгляда. (Я даже злился на него порой, так она ждала, а он сердито не замечал этого.) Наконец поднял голову и посмотрел в ее сторону. Неосторожно долго глядел, о чем то своем думая. Перевел глаза на комиссара. Но было уже поздно:

Глаша, как позванная, двинулась к середине поляны. И, как нарочно, на ней то самое платье – нелепо длинное, шелковое.

Весь отряд наблюдал за странным ее, лунатическим движением. Комиссар замолчал и неодобрительно взглянул на Косача. Костя начштаба засмеялся, сказав что то.

Я обмер, наблюдая, как Глаша идет к середине поляны, не замечая ни внезапной тишины, ни мрачного за усмешкой лица Косача. Но вдруг заметила, словно острого коснулась. Остановилась, огляделась в ужасе, как человек, обнаруживший себя на ушедшей от берега льдине. Косач отвернулся, а она побежала в лес.

Если я что и любил в ней в ту пору, то именно эту ее влюбленность в Косача. Отраженно, так сказать.

В детстве вот так же отраженно влюблен был в брата своей одноклассницы. Он был для меня живым слепком, повторением своей сестры. Те же глаза, тот же рот, а ты не робеешь – смотри, сколько твоей душе угодно. Мальчишки изводили безвольного и плаксивого сына приезжего учителя, а я опекал его, защищал. Он же, чувствуя мою непонятную от него зависимость, в свою очередь меня тиранил, капризничал. Но это делало его еще более похожим на сестренку и еще больше привязывало меня к нему. С ним я мог как бы ненароком назвать имя той девочки, вслух произнести при всех, главное, вслух – в этом было все дело, особенная сладость.

Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из под ног.

… Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты – иногда мне кажется, что это не

осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, и не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.

А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится – далекий пулемет. Вслушаешься – нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота – лошади, телега. Что то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно…

Орешник сначала затащил меня в темную лесную чащу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце.

И тут я услышал плач: женский, потом детский…

Я уже вижу лежащую под дубом Глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю: но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких, выпирающих из земли корнях ребрах женщина в длинном шелковом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешены, сушатся портянки. А босые ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов.

Глаза мои жадно и испуганно рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки.

– А, это ты… – сказала, точно всего лишь Геринг из кустов выломился.

– Коня ищу, – объяснил я свое существование на свете. Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей!

Уже после войны Глаша вспоминала: *«Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу, но сама иду плакать . Уже лагерь позади, никто меня не видит, но я все не плачу, спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить – все, теперь удобно, хорошо! – и, наконец, даю волю слезам, долго удерживаемым, а потому сладким»*.

То, что испуганная, заплаканная Глаша почти дурнушка – губы распухли, глаза потухшие, сердитые, – меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, потускнела специально, чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, добрую ее некрасивость (даже носом хлюпает, как пацан), я стою, не ухожу, развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем! Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают (осень, за урожаем полезут), а отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ, и вообще засиделись…

– Я не хожу на операции, – говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений, – я же командирша!

Смотрит, точно это я обозвал ее так.

– Ну и дураки!

Я охотно согласился. Само собой, ясное дело…

– Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости!

Я испуганно покосился, точно это сейчас произойдет.

Что то во мне такое, в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему Глаша меня совсем не стесняется.

– И правильно, – радуюсь я, – это вы здорово придумали. Война окончится, а у вас…

Я мог бы сказать *«у нас»*: я охотно принимал ее к нам, в тот фантастический мир, где мы с Косачем задушевные друзья и нам Глаша не помеха.

– *«Здорово придумали!»* – передразнила Глаша мой восторг. – Дурачок ты.

Но смотрит так, точно просит еще раз повторить мою глупость. А я на это скор:

– Будешь мама!

Словом этим я как ударил ее: вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги.

– Да, командир наш, конечно… – волоку я и подаю Глаше кончик оборванного разговора. – Война пройдет…

– Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне по *«теще»*?

И снова – как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор, по дурацки волоку его следом за нею, говорю, говорю. Глаша молчит почти враждебно, и я тоже замолкаю наконец.

Она впереди, я шагах в десяти сзади, идем меж старых, осевших штабелей. Теплая кислая гниль щекочет ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, грабовые плахи догнивают, слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной.

Меж штабелей толстый ковер из молодого, плотного, стелющегося грабняка. Брось камень – подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Грабняк такой плотный, что приходится балансировать

на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую, и от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром.

– Смотри, розовое! – говорит про зубчатолистый стелющийся грабняк. И правда, весь обрызган краснотой. В накалившейся сухой тени этого зелено румяного ковра прячутся кузнечики лесные. Целый костер их взлетает из под наших ног, пролетев, падают на зубчатые листья с сухим звуком и тут же гаснут. На моей ладони лесной кузнечик, как дотлевающий, подернутый серым пеплом уголек. Глаша забрала его, посадила на свою забавную узкую руку. Позволила ему выстрелиться и смотрит, как вспыхнул искрой и погас на зелено розовых листьях.

Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспосабливаются. Война, пожары – вон сколько все это тянется, уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали – раз, и все!

– Они, может, один день живут, – возразила Глаша, – что они помнят!

Тогда я стал за них огорчаться: вдруг в дождливый день родился, только тучи и увидишь! Даже не будешь знать, что небо бывает чистое, синее синее…

Глаша поймала мой вороватый взгляд, смотрит насмешливопоощряюще, точно я не подумал лишь, а вслух сказал про ее глаза. Отвернулась, засмеялась:

– Какой ты смешной! Особенно на тачанке своей. Немцы от смеха мрут.

(Вот что в Глаше меня особенно поражало тогда. Бывало, окружат ее хлопцы, посмеиваются друг над другом, над нею, а она, как тонкий стебель на ветру: длинные руки, вся ее пряменькая фигурка по девичьи вырываются из под наших взглядов, вздернутые плечи так и ходят – какой то восточный танец смущения.

Но синие глаза неожиданно смелые, смеющиеся. В них

радостное сознание силы, которая собрала и держит нас возле нее, женской власти над нами.

В Глаше и потом это оставалось: девичья неловкость, смущенность движений и смелость синих, знающих свою силу глаз.)

Почти тридцать лет до той зелено розовой поляны. Но сколько раз я возвращался туда. В снах… От красного дождя кузнечиков вдруг начинает тлеть земля, мы с Глашей растерянно оглядываемся, не зная, куда поставить ногу, а потом бежим назад, а над нами, гремя, как поезд по мосту, катится по вершинам леса волна огня, обсыпая нас горячими искрами… Проснешься – долго не можешь понять, откуда и куда ты вернулся, все силишься открыть глаза…

Когда человек теряет зрение, первый ужас – не можешь открыть глаза, все силишься, а не можешь. Это состояние без конца повторяется в снах. И одновременно другое мучение: закрыть тоже не можешь. Навсегда открыт, один на один с миром! И с самим собой, со своей памятью…

Я иду след в след за Глашей, смотрю, как из под ее сапожек и моих негнущихся сапог выстреливаются вспыхивающие и гаснущие искры, слушаю жесткий звук листьев, и сам я – как звучный, легкий, веселый барабан. И я знаю, что бой (и, может быть, ранение, смерть) будет только утром – целая вечность впереди!

– А что это за имя – Флера? – спрашивает Глаша, обернувшись так, чтобы самой стоять, а ее взрослое платье еще двигалось бы вокруг ног. Ноги у нее длинные, прямые, и это с платьем у нее хорошо получается.

Я сообщаю, что значит *«Флера»* (читал в календаре).

– Цветок? – Глаша смеется. Я тоже смеюсь. Ничего себе цветок: с этими обезьяньими дугами у растянутого улыбкой рта, в этом мешковатом немецком мундире с отвисающими штанами, который я выменял у

разведчиков на свое домашнее пальто. – Дай я выстрелю. – Глаша уже смотрит на мою винтовку.

– Тут запрещено, – весело предупреждаю я, снимая с плеча винтовку, – приказ Косача.

Имя это прозвучало вдруг незнакомо, как бы даже с издевкой, и я, точно споря, сказал скучным голосом:

– И правильно. Скоро в лагере будут пулять.

Глаша не слушает, оставила мне одному возможные неприятности. Целится в дерево понизу. Я быстро приподнял ствол винтовки.

– Прижми к плечу, – взял за плечо и локоть, чтобы показать, как надо. И словно ожегся о скользкость шелка.

– Я сама.

Повела винтовкой, как зениткой, и наконец выстрелила. Вернула мне винтовку, засмеялась.

– Бедный, опять на гауптвахту.

– Это еще надо доказать.

Я уселся на пенек, вытащил шомпол, поискал в своей сумке от противогаза бутылочку с маслом.

– А как ты нашел поляну? – Глаша прогуливается передо мной, сбивая ногой мухоморы, которые восторженно пылают среди серо зеленых осин.

– Как как? Трудно разве?

Она столько раз, наверное, бегала сюда плакать, что считала поляну своей тайной.

Вечером мы уходили из лагеря, чтобы к утру окружить гарнизон. Какой, узнаем на месте. Но от этого еще сильнее то сдвоенное чувство, с каким обычно собираешься, идешь на боевую операцию. Ты и кто то там (еще не знаешь, где и кто) уже связаны – вам

убивать друг друга. И оттого, что ты знаешь про это, а он еще нет, ты и за него представляешь: как услышит первые удары выстрелов, как испуганно вскочит… Тебе самому так знакомы и эти оглушительные, как удар в дверь, первые выстрелы и странное чувство облегчения перед наступившей наконец опасностью: *«Вот оно!..»*

Когда отряд, выстроившись, слушал комиссара, я снова сидел высоко на тачанке позади своего взвода и смотрел, ждал, как Глаша подойдет к Косачу. Но он сам подъехал на лошади к тем, кто толпился у края поляны. Что то говорил, а у нее лицо было влюбленно бледное.

… Совсем затих наш автобус, дрема придавила даже Костю начштаба. Один мой Сережа не умолкает: старательно рассказывает, что сейчас за окном, мимо чего проезжаем. Вдруг засмеялся, воскликнул:

– Ой, папка, а в твоих очках все поперек движется… Ой, заяц, заяц! В клевере, смотрите!

– Э, не е, в гречихе, – прозвучало в сонной тишине.

… В том бою меня контузило. Отряд наступал на железнодорожную станцию со стороны речушки и луга, поросших кустиками березы и ольхи. Долго дожидались рассвета, прячась в ложе речушки, туда же нашу тачанку спустили. Ровно в пять без стрельбы бросились к огородам, над которыми, словно крепостная башня, темнела кирпичная водокачка.

Наш ротный, Илья Ильич, перед самой атакой предупредил:

– Держите каланчу под прицелом. Жлоб буду, если там не сидит с пулеметом! Вот, пусть побудет с вами.

И кинул нам на телегу книжицу Некрасова *«Кому на Руси жить хорошо»*.

Мы повернули лошадей так, чтобы невысокий берег закрывал, прятал хотя бы их, и остались один на один с башней.

Уже застучали выстрелы – бой начался. Плывущая в предрассветном тумане башня внезапно заиграла, задразнилась красным язычком – пулемет! Сашка сразу завязал с нею дуэль. Сначала немец нас игнорировал, бил по наступающим. А Сашка никак не мог хорошенько приноровиться, приказывал мне то так, то этак повернуть лошадей. Наш *«льюис»*, высокий, как велосипед, закреплен на станке от *«максима»* – не очень удобный гибрид: ни лежать за таким, ни сидеть, разве что по турецки. И щита у нас никакого. Наконец Сашка приспособился, и *«льюис»* загундосил басовито, по бульдожьи. Прожевал всю ленту – плоскую вафлю. Я подал новую, помог вставить в окошко прорезь. И тут нас достало, но пока что сзади, по воде, словно камешки сыпанули. Сашка снова *«натравил бульдога»* (мы так называли свою стрельбу), я держу наготове еще одну полуметровую ленту на ладонях, как официант. Больше мне делать нечего, разве что считать камешки на воде, танцующие вокруг нас. Вдруг появилась на воде красная змейка, неторопливая, гибкая, все удлиняющаяся… Не сразу сообразил, что это кровь. Быстро (мысленно) ощупал себя всего. На Сашке тоже ничего не заметно. Лошади стоят спокойно безразличные, но Геринг все опускает храп к воде, как бы ловит губами красную змейку. А она все растягивается, изгибается по течению и не может оторваться, уплыть от нас.

– Быстрее! – кричит Саша. – Быстрее! Пришьет он нас.

Стрельба то нарастает, то вдруг спадает, но уже ясно, что случилось самое паршивое: мы их не смяли с налету, теперь все зависит от боеприпасов и времени, у кого больше. У нас меньше и того и другого.

На огородах мины ложатся одна на одну, нам видны черные верхушки взрывов. Топчут, втаптывают залегшие там цепи, просто стонать хочется. Сашка снова пустил трассу пуль в черное окошечко башни,

которая с каждой минутой все больше открывается, из темной делается кирпично красной.

Сразу ощутили – есть, достал немца!

– Давай еще одну! – кричит Сашка и от удовольствия локтем, рукавом трет свой вспотевший веснушчатый нос и стриженую лишаистую голову. – Я его доколочу.

Я показал четыре пальца – столько лент осталось в ящиках. Бухая по воде, кто то бежит за кустами. Адъютант Косача.

– Вы что тут?! Командир приказал туда, на тот край… к лесу… на фланг! Давай быстрее!

Но *«наш»* немец снова ожил – осыпанный камешками Женька припал к телеге у моих ног.

– А это видал? – заорал на него Сашка. Он добрый добрый, а заводится с пол оборота. Он у нас старый партизан, вместе с Косачем пришел в отряд, было время нервы измочалить! Снова нажал на гашетку, *«бульдог»* гулко и четко отсчитал десять патронов, почти пол ленты прожевал.

Я показал Женьке, что у нас мало патронов.

– Давай! Косач приказал, – не взглянув даже, крикнул он и побежал. А немец снова сыпанул, слышно, как ударило в колесо прямо под нами.

– Ладно, поехали, раз приказывают! – кричит Сашка.

Перезаряжали пулемет, когда налетел Косач. Это был уже Косач.

– Вы что? В небо? Ах вы!..

Никогда я не видел так близко это крупное и в то же время резкое лицо. Резким его делают две глубокие, как шрамы, борозды, падающие по щекам от глаз к подбородку. И глаза. Особенно глаза, яростные и все равно усмехающиеся, беспощадно увидевшие меня,

наконец именно меня увидевшие, признавшие.

– А ну наверх!

Не слыша, не понимая, что они, Косач и Сашка, кричат друг другу и что делают, почему рвут друг у друга ручку пулемета, я бросился к лошадям с каким то восторженным чувством непоправимости происшедшего и готовности делать что то последнее, страшное, чем лишь и можно исправить случившееся. Я тащил за морды коней. У Геринга ухо разорвано пулей (вот откуда та красная змейка), кровь заливает его безумеющие глаза, пенящиеся ноздри, окрасила мне руки, зеленые рукава немецкого мундира. Резко выдернув тачанку из воды на берег, я оторвал от нее, от пулемета, Сашку и Косача, и они точно опомнились. (Уже потом, перебирая все в памяти, я сообразил, что Косач яростно и презрительно сталкивал Сашку, хватался сам за пулемет, а Сашка, матерясь и почти плача, не давался.) Наконец Сашка оттолкнул Косача. Взбежав на берег, ввалился в телегу.

– Гони!

И я погнал. Первые метров сто, наверное, сгоряча и от бешеной тряски по луговым кочкам казалось, что мы несемся, как буря. Я лупил лошадей кнутовищем, больно подскакивая на коленях, а Сашка, вцепившийся в пулемет, все кричал:

– Гони!

Башня, когда мы вынеслись на луг, сразу выросла над нами, надвинулась, совсем красная от вспыхнувшего солнца. Зато лес – точно отнесло его еще дальше. И тут появилось чувство, одновременно у обоих – мои и Сашкины глаза встретились, – что нам уже известно, сколько секунд осталось вот так скакать. Очень ясное, точное чувство, будто кто то стал отсчитывать эти секунды вслух. Мы вроде уже видим себя оттуда, из красной высокой башни: беззащитно, жалко ползущую по лугу телегу; видим, как немец подводит пулемет, сейчас ударит… Хряснуло под нами, телегу перекосило,

но мы еще катимся, подминая последние секунды. И тут лошади, точно споткнувшись, обе разом грохнулись прямо под нас, закрытые взрывом, а телега еще пролетела полкруга и перевернулась, вышвырнув нас. (Я, пока летел, все время помнил, где тяжелый пулемет, а где моя голова...) На нас навалились взрывы. Меня подбросило, оторвало от самого себя и опустило в звенящую немоту. Оттуда, как из за толстого стекла, я смотрю, как медленно, страшно медленно ползет Сашка. Я вижу, что сделалось с его ногой, а он не понимает, торопливо отталкивает от себя землю красным дрожащим обрубком, поливая кровью траву. Сапог и то, что в нем, волочатся на длинной штанине далеко сзади. Глаза огромные, недоумевающие, ждущие, что сейчас, сейчас он что то узнает! Я неловко сдираю с себя немецкий пиджак и ползу следом по кровавой дорожке, ловлю и не могу завернуть в пиджак то, что осталось от ноги. А оно подергивается в моих ловящих руках, уползает, как испуганный зверек. Кажется, я слышу пронзительный крик этого зверька, с торопливым дрожанием уползающего по красной дорожке...

... Тот, кто был хотя бы однажды ранен или контужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это будет. До этого лишь зная, что смертен, а теперь – ощутил.

Я ходил по лагерю и всем улыбался. Обнаружилось, что быть смертным очень весело, что это дает массу преимуществ.

Во первых, все начинают тебя замечать и любить. Раненый среди партизан – самая уважаемая личность, настолько всеми замечаемая, что человеку с непривычки делается неловко и он побыстрее старается избавиться от бинтов, костылей, чтобы снова стать как все. (Правда, случалось и обратное: кому нибудь понравится носить бинты, как эполеты, но тут то его и подстерегает самое ужасное – вдруг отхлынет от него теплая волна, он еще тянется вслед, а там уже недоверчивые усмешки, презрительное безразличие...)

Ну, а во вторых, смертный – это взрослый, равный всем. (Бессмертны только дети.) Сразу приблизиться к ним, взрослым, – это стоит бессмертия. Туда, где все, где Глаша…

Когда меня привезли, глухого, вялого от шума в голове и тошноты, Глаша подбежала к моей телеге. Вдруг увидел на низком плывущем сером небе ее синие глаза – наклонилась надо мной. Уже прошло много телег с убитыми, ранеными, и она появилась надо мной, плачущая. Бежала к убитому, мертвому, а тут увидела неловкую слабую улыбку живого, на радостях она его поцеловала, живого (где то возле глаза), и, кажется, только потом сообразила, что поцеловала меня. Такое потрясение, наверное, изобразило до этого вялое от тошноты мое лицо, что Глаша тоже отшатнулась по девичьи возмущенно, но тут же улыбнулась и теплыми пальцами погладила поцелованное место, оставляя его мне.

Через три дня я уже ходил по лагерю: глупо лежать, когда столько добрых, ласковых улыбок можешь собрать! Ходил и собирал, как грибы. Но я искал Глашину, а ее не было. Целую неделю Глаши в лагере не было. Несколько раз издали видел Косача. Он меня снова не замечал. А меня еще сильнее привязали к этому человеку тот стыд, восторг, ужас перед непоправимым, которые я испытал возле речки.

Сашку, умершего от ран, хоронили в лесу у дороги. Косач стоял с опущенным тяжелым взглядом, незнакомо сутулясь. Салюта возле лагеря давать не положено. Косач бросил вместе с другими горсть земли, а комочек задержал в пальцах и шел с ним, я видел, до самого лагеря…

Я ходил на поляну, сидел там подолгу, глухой, одинокий, смертный. Я уже не слышал сухого дождя кузнечиков и только смотрел на их беззвучные красные вспышки. Масштабы незаметно смещались, и вот я уже среди красных взрывов, повторяющих пульсирующий в голове грохот. Вкрадывалась и начинала расти тревога: а что, если в лагере или рядом уже идет бой, а я сижу

здесь, глухой, и не знаю? Что то изменилось в мире резко, угрожающе, один ты не знаешь. Если бы кто увидел, как я возвращаюсь в лагерь – осторожно, с оружием на изготовку, – решил бы, что хлопцу мало настоящей войны, ему еще и поиграть в нее хочется.

Однажды уснул, угревшись на солнышке, по осеннему мягком, гладящем, уютно устроившись меж высоких, как подлокотники кресла, корней толстенного дуба. Открыл глаза – Глаша! Стоит и смотрит в упор. Я уже открыл глаза, а ее синий взгляд даже не дрогнул, лицо строгое, почти суровое. Наконец заметила, что я проснулся, что то сказала и села к дубу, в соседнее *«кресло»* с корнями подлокотниками. Откинулась лицом к солнцу и замерла с закрытыми глазами, только веки и ресницы мелко мелко дрожат над плавящейся слезой. Глаша в немецком свитере, с открытой, еще больше похудевшей шеей, юбка у нее по партизански поверх синих брюк, заправленных в сапожки.

Но заметно, что сама она себя не видит сегодня, не думает, какая она, ей все равно.

Что то сказала, не открывая глаз. Не помнит, что я оглохший, не слышу? Или ей все равно, услышат или нет, что она говорит? Я не слышу, зато поговорить рад. О Косаче, конечно. Как еще я могу отблагодарить ее за то, что пришла, сидит со мной вместо того, чтобы его искать, быть возле него?

Я знаю о Косаче конечно же больше, чем она: для женской любви все эти истории, возможно, не столь важны, как для мальчишеской. Вот эта история, как Косач появился в лесу и с ним еще семеро военнопленных, а их повели расстреливать как шпионов, подосланных. Сашка ругался и плакал от обиды и злости. Костя начштаба все просил покурить (и когда вели и когда яму копал), остальные будто не верили, что это всерьез. А Косач вдруг громко сказал из наполовину вырытой могилы:

– Когда тебя буду, не скули! Договорились?

Громко сказал (все его услышали), но неизвестно, кому это адресуя. (Не знаю, смог бы он сам объяснить, что имел в виду. Какая то горькая затаенная мысль вообще, а не упрек или угроза. Не мог же он знать, что вот сейчас начнется бой: в двухстах метрах появятся немцы и он, Костя, Сашка в этом бою покажут себя так, что через несколько месяцев Косач станет командиром роты, а потом и отряда. Странно только, что их уже поставили под расстрел, но, когда навалились немцы, тут же выдали им оружие.)

Я все говорил, говорил, и все про Косача и про наш с Сашкой бой возле речки, и во всем Косач был у меня прав, потому что он и себя не щадит, не жалеет. Глаша, казалось мне, внимательно и согласно слушала, хотя не открывала глаз. И вдруг произнесла:

– Замолчи! Дурачок.

Я это по губам ее и по гневно глянувшим глазам прочел.

Поднялась и пошла через поляну, как и в тот раз. Что то у них с Косачем произошло! Я был убит этой догадкой. Так ведь хорошо складывалось, так стройно. Куда же мне, за кем, если они уже не вместе? Без нее для меня теперь и он не весь. А без него эта поляна и наши встречи совсем другое что то, о чем я не готов подумать прямо: я так привык к удобной уверенности, что мы сюда приходим, чтобы Глаша вслух о нем могла думать, а я помогать ей в этом…

Бой начался сразу и неожиданно близко, даже не за речушкой, за которой проходила насыпь разрушенной, недействующей железной дороги, а на нашей стороне, почти в лагере.

Мы шли по соснячку, пахнущему хвоей и летним песком. Глаша, трогая ветки, исколола запястья и теперь облизывала их жадным смешным языком. И вдруг застыла, вопросительно и моляще глянула на меня. *«Стреляют!»* – сразу прочел я. Рукой показала где.

– Сильно?

Она закивала

– Автоматы?

«Да да!»

Значит, совсем близко.

Взрывы я услышал сам, как то всем телом. Наверное, мины. А если до гранат сразу дошло, плохо дело!

Глаша слушает бой и смотрит на меня, ждет, точно от меня зависит, чтобы не было того, что уже есть. И надо было мне именно сейчас оглохнуть: глухой, как и слепой, – всему открытый, неловкий, беспомощный. Ты, как в клетке, пойман, и каждый может подойти и рассматривать. Немцы долго рассматривать не будут…

Глаша схватилась двумя руками за мой локоть, по ее вздрагивающим пальцам чувствую: застреляли совсем близко, вот… вот! Винтовку я зарядил, держу наготове, осматриваюсь, но при этом я еще помню, думаю и про то, что иду под ручку с девушкой и это сейчас увидят, те же немцы увидят. Еще хуже (так и подумалось: хуже!), если увидят наши зубоскалы. А вдруг Косач?

Пальцы на моем локте сжимаются, вздрагивают от близких выстрелов и взрывов, я вполголоса уточняю:

– Пулеметы? Автоматы, да?

Глаша глазами показала вверх. Э, даже самолеты! Значит, блокада, не меньше. Теперь главное – к своим попасть, не оторваться, не остаться одним. Глаша не то ведет меня, не то висит на мне среди неслышных мне выстрелов. В голове у меня свой шум, грохот, пустой, бессмысленный. Мы стараемся так обойти стрельбу и крики (потом Глаша говорила, что и голоса немецкие слышала, команду), чтобы попасть в лагерь. Все правее забираем, чтобы не нарваться, чтобы зайти в лагерь с обратной стороны. Но сколько мы ни идем, ни бежим, бой все не остается позади. Глаша показывает, что он

впереди, сбоку, кругом. Я уже злюсь, наверное, путает, где стрельба, а где только эхо. Оторвал ее пальцы от себя и показал, чтобы шла сзади: еще, еще больше отстань! Я направился прямо к лагерю. Оглянулся, Глаша послушно брела сзади, виновато, робко улыбнулась. Я невольно ей ответил, и она, как прощенная, тут же догнала меня. Снова обхватила руку. Что то менялось и уже изменилось во мне, между нами. Я себя теперь другим видел, и этот другой уже не церемонился: он спасал Глашу, теперь это главное, а смущаются, стесняются пускай другие!

Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой, немо и страшно, точно изнутри взорвалась. Глаша уже упала и меня за полу пиджака тянет к земле. А сосны взрываются – белые клочья, точно пена, вырываются из под коры. Разрывные пули! Но откуда бьют, не понять.

(Когда то Сашка о таком рассказывал, но там пена была красная, и я будто сам это помню – красное, вспененное. Они брели с Косачем в пыльных колоннах сорок первого года, и вдруг выскочил к дороге заяц, немцы конвоиры азартно, весело застреляли по нему, а заодно и по колонне. Перед глазами у Сашки, у Косача, вот так брызнув красной пеной, взорвался затылок человека, который шел впереди них.)

Бьют из березнячка, что метрах в ста от нас белеет за стволами сосен. Я толкнул Глашу, показывая, чтобы уползала, а она смотрит, будто я и в самом деле могу что то изменить в целом мире.

В белой березовой стене, как бы просочившись, появились темные пятна людей. Они отклеиваются от белой стены и падают, отклеиваются и падают, как под немым пулеметом. И тут же снова поднимаются, растягиваются в цепь.

Глаша с земли смотрит на меня, глаза большие, беззащитно синие, голову приподняла, вот вот лицо ее тоже взорвется. Красным.

Деревья все брызжут белой щепой в немом ужасе, я ногами надвигаюсь на Глашино лицо, показываю ей свирепой гримасой, чтобы уползала быстрее за поваленную высохшую ель. И все боюсь, что лицо это, обращенное ко мне, взорвется красным, вспененным. Вдруг начинает представляться, что только лицо, огромные синие глаза – Глаша, а ее торопливо уползающее тело – это кто то, схвативший ее и волокущий, и оттого такой ужас, мольба в этих глазах.

Немцы прошли совсем близко от осыпавшейся, сухой ели, за которой мы лежали. Я даже видел, как ближайший к нам (под каской, в пятнистой плащ накидке) посмотрел на поваленную ель и сбился с ноги, наверное, подумал, что надо заглянуть за нее или прострочить из автомата. Казалось, даже патрон в моей винтовке пошевелился, такой это был момент. Узкое молодое лицо еще какое то время было повернуто в нашу сторону, но он не застрочил и не подошел…

А мы, когда их не стало видно, вскочили на ноги и побежали. Бежать было бессмысленно и даже очень опасно, мы не знали, что, кто перед нами окажется через пятьдесят, через сто метров, но в нас прорвалось копившееся все эти минуты чувство, желание быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Но вот опасность перестала напирать, давить в спину, зато встала поджидающе впереди…

«Постоишь – беда догонит, побежишь – напорешься на нее!» – это Рубеж любил повторять, Тимох Рубеж – смешной, странный человек, с которым мы встретились через два дня… В нашем автобусе никто его не помнит, они его не знали, Рубежа. Сошлась моя дорога с его на каком то небольшом отрезке, а дальше потянулась только моя, а его оборвалась. Наверное же, и кроме нас с Глашей его помнит кто то, где то (семья у него была), но все равно такое чувство, что из живущих только я да Глаша знаем, что он был, и пока мы его удерживаем в себе, это правда, что он был.

Странно, что людей, которые сейчас в автобусе, я воспринимаю как посредников, через них я общаюсь,

как с живыми, с теми Костей, Зуенком, Ведмедем, которых знал, видел много лет назад. И Костя начштаба, вот этот шумный, смеющийся, и Косач, молчащий всю дорогу, и Столетов – все они как бы прямо оттуда, из двадцатипятилетней дали. Странно, когда память вот так вдруг обретает плоть, реальные голоса… Зрячие должны напрягаться, чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто больше четверти века назад был Косачем, Зуенком, Столетовым, Костей начштаба. А мне и усилия не нужно, только тех, прежних, я и вижу. А сегодняшние лишь подтверждают, что все – правда.

… Глаша сидит на корточках, привалившись к дереву. После сумасшедшего бега на щеках ее пятнами растекаются бледность и румянец, а в немигающих глазах темный испуг. Я стою над ней, сушу на своем лице пощипывающий пот и смотрю сразу во все стороны. Глаша показывает, что стреляют везде, кругом.

Да, в лагерь нам не проскочить. Да и нет там никого, раз такое творится.

– Удивится Косач, где ты, – говорю я.

Глаша потянула книзу серенький свитер, сняла с носка сапога березовый лист, рассматривает.

– Осень уже, – сообщили ее губы и посмотревшие на меня глаза.

И я взял у нее пожелтевший, но еще мягкий, живой лист, точно она дело говорит и нам сейчас это важно.

Если началась действительно блокада, значит, все это – стрельба, самолеты – сейчас уже и там, где мама, сестрички. Хорошо, если догадаются сразу уйти на *«острова»*, в глубь болота. Деревня наша там и в сорок первом и в сорок втором пряталась.

Глаша смотрит на меня и соглашается с тем, что я думаю. Фу, да я уже вслух думаю! Разговариваю в голос,

не замечая того. Продолжил как ни в чем не бывало:

– Там, в своем лесу, я на немцах кататься буду как только захочу. Там не достанут. А схлынет, доставлю тебя…

Я не произнес: *«Косачу»*. Ее взгляд мешает мне произносить это имя. Раньше помогал, требовал, а теперь почему то мешает.

Мы снова идем через лес, и снова Глаша показывает, где стрельба гуще. Свернули к болотцу, зеленому, с полегшей длинной травой. Я набрал в пилотку воды и, подняв над лицом, ловлю губами солоноватую от пота струйку. Глаша пьет с ладошки.

– Есть хочешь, – догадался я. Она быстро кивнула и глянула по детски, точно я сейчас достану с дерева и дам ей. Черт, даже сумку свою в лагере оставил, хорошо еще, что винтовка да граната при мне. А Глаша совсем налегке, хоть бы для виду Косач дал ей какой нибудь карабин. Теперь пришагаем к моим односельчанам, а там решат, что я просто с девушкой, – невесту привел, здравствуйте!.. Убьют немцы, подойдут и будут рассматривать нас на земле.

Я отнял у Глаши свой локоть, для этого сделал вид, что мне надо вернуться на просеку, посмотреть.

… Автобус наш дремлет. Глаша, наклонившись, пошарила в сумке, подала Сереже бутылку с водой. Сказала строго:

– Не облейся.

Теперь смотрит в окошко. Я ощущаю ее несвободное дыхание, и кажется, что вижу синий мазок скошенных глаз, который и сзади Косачу, наверное, виден. Косач за спиной у нас. Мы едем, чтобы встретиться. На встречу с самими собой едем.

А ведь вы, Флориан Петрович, обязаны партизану

Флере, самонадеянному, сердитому, глухому, в обвислых немецких обносках, обязаны тем, что вышли сюда, с Глашей вышли вот сюда… Порой я совсем со стороны вижу того Флеру – себя восемнадцатилетнего. Точно не во мне он, а там остался. И порой кажется, что мы с Глашей все идем за ним, подчиняясь его сердитым знакам, а он, загребая листья, иглицу тяжелыми сапогами, то пропадает за деревьями, то появляется из за них неширокой, худой спиной. А ему еще про мать надо думать, про сестричек. Несет, прижав локтем, свою жалкую, черную от нестираемой могильной сырости винтовочку, будто она и в самом деле всем нам оборона.

… И тут мы увидели людей. Сразу заметно было, что это убежавшая в лес деревня и именно сегодня, может быть, два часа назад это случилось. Ни шалашей, ни ям, ни обжитых деревьев, на которых были бы развешаны одежки, тряпки. Люди как разбежались, а потом как собрались, сбились в кучу, гак и толпятся, застыли, глядя в одну сторону: там догорает их деревня. Самих хат не видно, а только рвутся из за высокого поля в небо разные по грузности и цвету дымы, еще не соединившись в сплошную стену пожара. Сначала люди, все как один, повернулись в нашу сторону, дернулись, готовые снова сорваться, бежать, но вид наш сразу успокоил их. Только женщина в белой чистой кофте, выделяющейся среди заношенного старья, бросилась к нам. что то причитает, кричит сердитое, показывая на мою винтовку чугунком, который зачем то держит в руке.

Мы постояли с Глашей, как бы дожидаясь, чтобы у людей пропал к нам интерес, а потом тихонько пошли. Вдоль опушки. Не хотелось терять ее, отвоеванную у страха, снова углубляться в лес, брести вслепую. Нам еще поле – километра три открытых – пересечь надо, прежде чем попадем в «*мой*» лес.

До сумерек держались опушки и видели, как то в одном, то в другом направлении – ближе, дальше –

вырастают новые дымы. А меж них, будто на гигантских трапециях, раскачиваются самолеты. Появляются то с одной, то с другой стороны. Такой блокады в наших местах еще не бывало – чтобы столько самолетов!

К вечеру небо затянуло, загрузило тучами. Дымы вверху расползаются, как под черным низким потолком, шевелятся там. Вдруг сыпанул дождь, а потом, как бы не то сделав, пропал, и посыпался сухой, секущий песок – ветер где то поднял его и теперь швырял прямо из туч.

Зарева сначала растекались по горизонту, жались к земле, а отблески подпрыгивали к тяжелому подбрюшью неба. Потом зарева стали расти, расти и наконец вцепились в тучи, повисли на них. Небо снизу глаже и как бы тверже делается и все чернее, мрачнее в глубине, в своей толще. Громадные тени сшибаются, сталкивают друг дружку вниз. Ночи не стало. И не было дня. Мир сделался узкой и длинной, во весь горизонт, амбразурой, освещенной изнутри…

Спотыкаясь, разрывая ногами картофельную ботву, мы быстро шли через поле, спешили к далекой, очерченной заревом, угольно черной гребенке леса.

И тут увидели появившихся, бегущих по зареву, по горизонту людей. Далекие черные фигурки, словно сгорая, трепещут в светящейся амбразуре, пропадают, появляются новые и тоже проваливаются в черноту.

Люди снова выбегают, уже ближе, из черноты, бегут, толкая перед собой длинные тени. Все удлиняющиеся тени уже пронеслись мимо нас, а сами люди только подбегают. Другие, левее, вырываются из неубранной ржи, кипящей, как от рыбы пруд, из которого уходит вода. Нас люди замечают в самый последний момент. Глаза человека спотыкаются (*«Кто это? Почему не бегут?»*), и он проносится мимо. Вслед посмотришь, снова увидишь глаза. Детские. Припавшие к плечу взрослых детские головки пролетают мимо нас, неотрывно глядя назад – на зарево.

И вдруг в той стороне поля, куда все уносится, что то произошло. Длинно вытянувшаяся трасса пуль разрезала темноту, и стало видно, что оттуда тоже бегут, наверное, другая деревня. Увидев друг друга, люди растерянно приостановились и, может быть, закричали (а может, они все время кричат, мне не слышно). Заметались и бросились уже все вместе к лесу, из которого только что вышли мы с Глашей.

В лесу, куда наконец добрались мы, привычном, партизанском, сразу сделалось свободнее. Лес нас признал, повлек, повел, по собачьи облизывая дрожащим пятнистым светом наши лица, руки. Мы прошли еще с километр и сели отдыхать. Глаша нашла спиной дерево и тут же уснула, оставив мне одному и эту войну, и весь этот мир, – ей надоело. Я сидел, смотрел на ее капризно спящее лицо, как бы с вызовом спящее, и тихонько, как помешанный, смеялся, наверное, от усталости и от своей дурацкой глухоты.

Оттого, что нельзя было этого делать, а я тоже крепко уснул, беспечно спал (точно поддавшись детскому настроению Глаши), и ничего страшного не случилось, было очень весело проснуться и посмотреть на мир, в котором все осталось на месте.

Глаша одновременно со мной подняла с собственного плеча голову и открыла глаза, щедро добавив в мир синевы. Мы какое то время смотрели друг на друга, всему открытые.

Все в лесу пропахло дымом: и папоротник, и хвоя, и твои рукава, и, наверное, холодные от росы Глашины короткие волосы, которые она оглаживает обеими руками. От дыма щиплет под веками.

Солнце, до этого невидимое за деревьями, внезапно, сразу ворвалось в лес, и тогда дым по живому заворочался на неподвижно расходящихся спицах света.

Мы пошли по старому сухому бору, собирая чернику, уже подсохшую и насахаренную за лето солнцем. Надо

побыстрее уходить отсюда, но Глашин голод нас не пускает, он такой же смешной, по детски капризный, как и сон ее, и мы, веселясь, точно жадному кролику морковку скармливаем с ладоней, подаем ему сладкие тепловатые ягоды. Кое что достается и мне, но кролик такой радостно жадный, такой синеглазый, что трудно удержаться и не отдать ему.

Лес завораживает, держит; он какой то испаряющийся, нереальный из за этого синевато оранжевого дыма, прозрачно растянутого на солнечных спицах.

В какой то момент мы подняли глаза от кустов черники и обнаружили, что идем по кладбищу. Лесному, среди вековых сосен, старому, как сам бор, кладбищу. Время и лесные мхи так отфактурили трех пятиметровые кресты, что в первый миг тупо подумалось: *«… Тут и кресты растут!»* А у ног крестов великанов валяются, разбросаны давно сгнившие, похожие на маленькие тени великанов кресты дети, кресты младенцы. Кое где остались разломанные оградки, чугунные и железные. Время срастило их со стволами толстых сосен. До самой сердцевины вросло железо. И мох пополз по чугуну, делая его как бы частью леса.

Вон как хоронили своих мертвых: на каждого такой крест, чугун! Кресты непривычные: не то староверские, не то католические…

… Да, Флориан Петрович, вот тут бы вам и лежать! Свалила бы пулеметная очередь, обрызгав вашей кровью чужой крест, чужую оградку. И Глашу срезала бы в тот же миг… Флера и на этот раз спас. Со своей черной винтовочкой, уверенный, нелепый в своем обвисающем немецком мундире, вел он вас на виду у немецкой засады, поджидавшей партизан на этом самом кладбище.

Теперь поменялись ролями: уже я веду того партизана с винтовочкой, продолжаю, так сказать. С какого только момента, с какого места? С того ли, как окончилась

война? А может быть, позже я его сменил? Или, наоборот, раньше?

Как то в Белграде наш турист подшутил в музее (пока я видел, я старался побольше ездить, смотреть, втайне подозревая, что делаю это впрок, в запас), так вот, наш турист привел свою землячку к стеклу и показал ей белый череп, мол, это Александра Македонского, когда ему было семнадцать лет.

– А где?.. – Женщина хотела узнать, а где взрослого Македонского череп, но тут же сообразила, рассмеялась вместе со всеми. А ведь действительно: где? Где мы меняемся ролями, местами, например, я с Флерой? Ведь я его совершенно со стороны вижу, помню, точно он – это кто то другой, с кем я был, за кем я шел, кто меня выводил и спасал так же, как Глашу.

Да, это надо было видеть, как пошел петлять, хитрить Флера, когда из за покосившейся оградки его взгляду открылся вдруг пулемет, одноглазо уставившийся на нас в упор, а над пулеметом – неподвижный черный череп каски! А Глаша ничего не замечает, она идет впереди, трогает кончиками пальцев обомшелые, бархатистые тела крестов, в немом крике вскинувшие над ней руки. К ее великому изумлению, Флера стал вдруг махать рукой и кричать в ту сторону, откуда мы появились:

– Эй, командир, сюда все идите! Что мы нашли!

Странным голосом задержал, подозвал Глашу:

– Глаша, постой, что то покажу…

Взял Глашу за плечо (рука дрожит, а лицо вроде смеется, но какое то закаменевшее), повел ее в сторону, бормоча что то бессмысленное. И снова крикнул:

– Эй, где вы там? Сюда идите!

Пересекли лесную просеку, оставляя кладбище позади. Глаша не понимает, что происходит, а он на нее не смотрит и не отпускает плечо (ей даже больно), идет

все быстрее. И вдруг крикнул:

– Да немцы же, дура, беги!

И, схватив ее за руку, бросился в густой орешник.

А когда далеко отбежали и когда она поняла, что там было, Глашу стал бить озноб. Флера накинул ей на плечи пиджак с алюминиевыми немецкими пуговицами.

Рассматривая свой китель на Глаше, Флера сказал:

– Мама не знает, что я променял пальто. Последний раз зашел домой, она спросила, почему не принес его. Там воротник хороший был… А знаешь, давай вернемся на хутор. Ты же хочешь есть. И я хочу.

… Когда мы бежали после кладбища, заметили на лесной поляне сгоревший хутор или лесничество, угли еще дымились. Картошку, и даже печеную, найти там можно.

Но я вдруг почувствовал, что глухота моя боится леса. Все представляются черный череп каски и уставившийся глаз пулемета… Главное, со мной Глаша, рядом!

Сказал заранее сердито (на тот случай, если станет проситься), что я схожу один, а она обождет в ельнике. Глаша смотрит умоляюще, но возражать не решается.

А мне уже нравится быть с ней вот таким, решать за обоих. Быть сердитым. У человека веселого, а тем более непрошено, навязчиво веселого, всегда вид оправдывающийся. За мрачность, за угрюмость никто не оправдывается. Наоборот, другие себя чувствуют виноватыми перед таким. К этому и привыкнуть можно, на всю жизнь понравится.

Нашел еду я скоро, прямо на дороге. Мне надо было перескочить эту дорогу, свежепобитую, растертую танковыми гусеницами. Я ступил на нее, а прямо в

глаза мне – картонная коробка, такая неожиданная здесь, в лесу, точно из другого мира. Меня даже за дерево повело сначала, как от опасности. Но тут же бросился и схватил ее, как бы боясь, что видение исчезнет. Хватая коробку, подумал, что это вполне может быть ловушка мина, а разрывая картон и откусывая ровненькую галету, лениво прикинул, что она, возможно, отравлена. Галеты очень сухие, но голодной слюны хватило и на вторую и на третью. Я жую на ходу, пьянея от слабого, какого то далекого хлебного запаха, и успокаиваю свою совесть тем, что надо же хорошенько убедиться, что они не отравлены. У меня даже голова закружилась в придачу к тем привычным тошноте и шуму, которые меня сопровождают с момента контузии.

И я заблудился, вдруг понял, что иду наугад. А ведь я даже не смогу окликнуть Глашу, точнее, не услышу ее голоса. Забыл, совсем забыл, что я глухой!

Я испуганно, растерянно побежал и тогда совсем поверил, что не найду ее, и испугался еще сильнее. А ведь необязательно было оставлять ее и ходить одному. Не говори, что засады побоялся, просто понравилось быть, как другие, мрачным, приказывающим. Дурак, дурак, какое тебе дело до других! Им, другим, может быть, и Глаша не то, что для тебя…

Я почти налетел на нее – она издали меня увидела и побежала наперерез, встревоженная таким моим появлением: мчится человек, глаза белые, в руках какая то коробка, точно украл и за ним гонятся!

– Ешь смело, неотравленные! – заорал человек.

Свет уходит из лесу, собирается вверху. По ночному остро пахнет земля, хвоя. Мы шли весь день, а теперь устраиваемся, чтобы спокойно отоспаться. Галеты мы доели все, к ним очень пошел кисленький заячий щавель. Сытости немного, но само сознание, что сегодня ел хлеб, успокаивающее: в хлебе всегда столько надежды!

Глаша сидит под темным деревом, обмякшая от усталости, накинув на плечи мой немецкий китель. Моросит, сыро. Я ломаю лапник, колючий, холодный, и ношу, складываю к ее ногам.

Дождевые тучи все опускаются над лесом, но от них становится не темнее, а светлее – по нему скользят ночные отблески пожаров. Это уже почти моя местность, до моей деревни километров тридцать.

Лапник я заготовил, теперь только перетащить его в густой ельник. Поставил винтовку возле Глаши и тащу тяжелую колючую ношу вслепую, спиной раздвигая густо растущие елочки: надо подальше, поглубже, от всех, от всего подальше. Глаша точно и не видит, чем я занят, сидит странно безучастная, и уже кажется, что не только от одной усталости.

Все готово. Я подошел, взял винтовку. Глаша снизу глянула на меня и подала пиджак.

– Дождь теперь не достанет, – говорю я. Глашины глаза, поднятые кверху, освещены, что то в них вопросительное и совершенно мне незнакомое. Но что тут такого? Все обыкновенно: надо перебыть ночь, чтобы не налезть на немцев, не заблудиться, и вообще люди, как собаки, устали. Я рассказываю Глаше про то, как мы утром выйдем и к вечеру будем на месте. Глаша смотрит молча. А как еще, если я глухой? Все обыкновенно.

Подошла к густому, как щетка, мокро поблескивающему ельничку, смотрит заинтересованно: что тут, как я тут намастачил?

– Сюда иди, я и крышу настелил, – говорю я и спиной проламываю колючую стенку ельника, а Глаша идет следом, руками отводя еловые лапки от лица. Я вижу ее лицо, глаза. Такая вдруг непонимающая, несообразительная стала, очень всему удивляется, будто впервые в лес попала. Кажется, выбрала для себя, какой ей быть, пока сидела под моим пиджаком, а я таскал лапник, и вот стала такой, ждущей, чтобы ей все

показали, объяснили, самой ей невдомек, что тут и как. Очень точно почувствовала, какой ей надо быть с Флерой.

Вот оно, наше жилище: крыша есть, постель есть, все из лапника. Глаша стоит и не понимает, как и что дальше. Я наклонил ей голову.

– Заползай.

Волосы у Глаши мокрые и теплые – моя ладонь торопливо сообщила мне об этом. Глаша присела на корточки и поползла в темноту, под навес. Пополз в колючую темноту и я. Холодная рука Глаши коснулась моего лица – показывает, где мне ложиться. Лапника у нас достаточно, чтобы и под бока было и накрыться, как одеялом. Приподнимаясь, вытаскиваем лапки из под спины, взваливаем их на себя, разравниваем, исколотые руки наши встречаются и показывают: вот так, тебе вот так будет лучше!

Еще лучше будет, если я сниму свой китель и мы сперва накроемся им, а уже поверху мокрыми колючими ветками.

Наконец все как надо: пружинящая еловая постель – под нами, тяжелый, плотный лапник – на нас, винтовка – между, а руки наши придерживают теплый пиджак поближе к шее.

Все в мире невероятно и резко, точно бинокль другой стороной повернули, отдалились. Все будет завтра, а сейчас только это, только мы. Молчание уже пугает, как улика, и я начинаю говорить, шептать. Конечно, об отряде, о Косаче. Он искал Глашу, он все думает, куда она исчезла… Глаша, чтобы лучше слышать, повернулась со спины на бок, лицом ко мне. Я ощущаю ее дыхание, почему то прохладное. Или это у меня такие разгоревшиеся щеки? Но мне совсем не жарко, мне почему то холодно. Еще энергичнее, как молитву, шепчу про то, как я ее спрячу на *«острове»*, а потом мы найдем своих, отряд… (Глашина рука проверила, хорошо ли закрыт мой бок, не мерзну ли.) Я все

бормочу свою молитву, рассказываю про Косача, про то, как он умеет быть строгим, неразговорчивым, зато когда скажет, то уж беги, делай, и каждый с радостью бежит и выполняет. И я понимаю, почему Глаша… Я и сам… Рука Глашина уже лежит поверх пиджака, я чувствую ее доверчивую тяжесть возле шеи. Так прекрасна в ней эта взрослая простота. Положила руку и ни о чем не думает, а я только об этом теперь и думаю, о том, что ее рука на мне лежит и что это значит.

Захотела и стала взрослой, на глазах у всего отряда. А я только в снах, но и во сне обязательно кого то пугаюсь, в самый последний, в самый стыдный миг, точно забавляется мною кто то, обманывая всегда одинаково, и всегда ему это удается.

Глаша затихла совсем, дыхание сделалось слабее, а я все шепчу, шепчу свою молитву. Я уже рассказываю самое начало: как Косач и Костя организовали побег из плена, проломив в теплушке пол, и как они все вываливались под колеса мчащегося через Польшу поезда…

Наконец я понял, что Глаша спит – уютно, по домашнему, как она это умеет в любой обстановке.

Сразу изменилось все. Рядом доверчивый комочек человеческого тепла, я повернулся к нему и могу без страха, молча вдыхать его, радоваться ему. Спать я себе не разрешаю, хотя все тело слипается, склеивается в сонный ком, и приходится эту склеивающуюся вязкость раздирать снова и снова. Если нас, если тебя завтра убьют, вся жизнь пройдет этой ночью. Закроешь глаза – и уже утро! Нет, пусть каждая минута длится, тянется, как только можно, ее надо раздирать на секунды, на мгновения… Глашина рука доверчиво, сонно лежит на мне, коленки греются о мои ноги, дыхание смешно ластится о мой рот, щекочет веки, слипающиеся, просящие сна. Можно даже закрыть глаза, нужно только не давать мгновениям слипаться в минуты, а минутам склеиваться в часы, а всему телу – в один сладкий, мертвый ком сна. Не давать, не позволять,

удерживать, разрывать, расклеивать… Где теперь мама, сестренки, где они в эту минуту, о чем думают? Мне надо увидеть их, убедиться, что ничего не случилось, что они есть.

Я провалился в сон, как под воду. И тут же вынырнул – в холод, в сырость, стреляющий, перекликающийся гулким эхом рассвет. У нас в ельнике еще темно, только поблескивают, точно собственным светом, нанизанные на иглы капли да в плывущем тумане белеют, как незажженные или погасшие свечи, стволы елей, с которых высоко содрана кора. Даже удивительно, как это сумели почти до макушек снять кору.

– Они нас найдут? Они нас увидят?..

Голос, шепот ее торопливый, такой испуганный, а глаза, знающе смелые и улыбающиеся, глядят на меня снизу. Это я, и это правда, впервые это не во сне, а правда, и так близко стреляют, но мы одни, руки наши просят, мешают, разрешают, запрещают, помогают. Они и ласковые, и грубо неловкие, и насмешливые, и стыдливо сильные. Глаза так близко, вот вот сольются в одну каплю, огромную, голубую…

– Не смотри! Слышишь!.. Как стреляют, слышишь?

Я закрыл глаза. И проснулся. Снова кто то мною поигрался, позабавился моей дурацкой трусостью. Глаша уже не спит, приподнялась, сдвинув набок, свалив с нас слежавшееся еловое одеяло, напряженно вслушивается. Сон ушел, но и остался, мешает на нее смотреть. Теперь, кажется, на самом деле проснулся. Я поискал закатившуюся под бок винтовку, вытер с лица дождевые капли – умылся.

– Стреляют, – сообщил я. Это я прочел в ее вслушивающихся глазах.

… Вот они, мои Белые Пески, я привел Глашу к себе домой. Деревня огромная от внезапной пустоты,

открывшейся в ней. Взгляд, не соглашаясь, цепляется за две или три постройки, уцелевшие в разных концах огромного пустыря, вспыхивающего последним жаром то в одном, то в другом месте. Плечо мое дрожит под вздрагивающей рукой Глаши, и мне подумалось, что она это чувствует так, как чувствовал я, когда ловил уползающий обрубок Сашкиной ноги. Я отошел от Глаши. Почти с отвращением к ней, к себе, к нам, которые пришли сюда не вчера, не позавчера, когда мы еще были нужны здесь, нужны были…

Я начинаю спускаться с сосновой горки к дороге, в сумерках белеющей среди луга. Глаша, не заметив или не желая замечать моего к нам отвращения, идет рядышком.

Не раз, бывало, дотемна загулявшись на этой горке, глядел я на деревню: вот так же вспыхивали огни в разных концах деревни – в окнах. Вот так же.

Дорога тихо, точно дожидалась, приняла меня, когда мы сошли вниз, повела, побежала вперед, впереди… У моего соседа Юстина утонул взрослый сын (перед самой войной случилось это), а Юстин вернулся откуда то через день, когда уже стоял гроб в хате. Человек идет по улице, уже знает про свое горе, к нему тихонько подходят и молча идут рядом люди, соседи, вот как Глаша рядом идет. А впереди бежит белая дорога, показывает, куда идти, где твое горе. Но при этом она не забывает сделать свои давние изгибы, даже ненужные: возле давно высохшего болотца, возле когда то сгоревшего от молнии колхозного амбара. И я, как эта непрямая дорога, все ухожу от мыслей про маму, сестричек, соседей, деревню, все о чем то другом, о другом совсем…

Моя хата в дальнем конце деревни, и мы идем туда. Вспыхивают от ветра бугры, где стояли хаты, а теперь грузно белеют печи; отсветы касаются Глашиного, моего лица – так ощущаешь чужой взгляд, хотя и не видишь еще, кто следит за тобой. Что то извечно бабье есть в этих обессиленно присевших белеющих печах. *«А чей же это? Гайшунихи хлопец, Флера? Или чей?»*

Точно стараясь рассмотреть или показать нас, жар на огородах вдруг вспыхивает, разгорается ярче. Опустевшие дворы отступили от улицы, оставив на прежнем месте лишь скамеечки, да обуглившиеся заборы, да березы с закинутыми, как головы, вершинами. (Что то белое перебежало улицу, быстро, по собачьи, но я хорошо вижу, что это не собака, а свинья, совсем как дикая.) Возле этих берез, под ними когда то проходили летние вечера. Старшие сидят, стоят, курят, судачат – отдыхают после рабочего дня, а мы, пацаны, носимся по улице, по огородам, хорошо нам от ощущения, что у взрослых такое тихое, вечернее состояние, весь мир человеческий кажется успокоенным, защищенным, добрым. До сих пор в существе моем, в каких то сотах запечатано то минутное чувство, которое я сам отметил, остановил, когда вскочил по лестнице на чердак, прячась от *«синих»*, посмотрел вниз и увидел на скамейке под березой отца и маму: сидят, как парень с девушкой (*«тили тили тесто, жених и невеста!»*), смешно так сидят и трогательно, считая, что их не видят, он целует ее возле уха, она, отталкивая, гладит его лицо рукой. (*«Петя, одурел, соседи же!»*) Мне хорошо и жутковато, точно нет на свете меня, а только они вдвоем. Затаившись, я смотрел на мир, где меня еще нет. Сам не знаю отчего, но я закричал громко, будто продолжая игру в войну, а на самом деле, чтобы снова появиться в этом мире, напомнить о себе. Мама оглянулась, а отец рассердился:

– Ты что как резаный?!

Сердился он сразу, резко, и я его любил и боялся. Вообще я всегда любил суровых, неласковых, может, потому именно, что таким был и мой отец. Даже уезжая на войну в Финляндию, отец не поцеловал меня, а только стиснул пальцами плечо и показал на плачущую маму и прислонившихся к ее ногам близнецов, обвязанных платками по кучерски, под мышки: *«Смотри их!»*

Теперь я подходил к тому самому месту, где это было,

где наш дом . Тут огоньки уже не ползают по огородам, только возле печей дрожит жар, значит, начинали с этого конца… Береза высится надо мной, откинув растрепанную голову в черное небо. Уцелели калитка, часть забора. Возле печки земля затемненно светится.

Глаша тихонько направилась к печке, а я все не вхожу в распахнутую калитку. Кто, чья рука ее распахнула? И что было потом?.. От Глашиных ног вспыхивают и остаются светящиеся красные следы. Зацепила жар носком сапога – коротко взлетел рой искр… Как на той поляне… О чем это я? Мысль все соскальзывает набок, уходит от самого страшного. Решительно, убежденно, чтобы самому поверить, говорю Глаше, что все убежали, все в лесу… Глаша наклонилась, рассматривает что то. Я отрываюсь от калитки и бегу туда и сам пугаюсь своего бега. О, я знаю, что это такое – белые угли! А мне вдруг показалось, что они белые – как сгоревшие кости. Нет, нет, это от печки отсвечивает, от побеленной мамиными руками нашей печки! И горелый запах картошки и яблок, только картошки и яблок! Они убежали в лес, завтра их найду, увижу…

Я подхожу к печке, трогаю ее, неожиданно холодную среди неостывших углей. Сапоги мои, как влагу на болоте, выжимают из земли жар, свет. Следы гаснут не сразу, тлеют, вспыхивают от ветра, по ним пробегают синие и красные огоньки.

За яблонями пятном белеет печка Юстина – нашего соседа. На заборе что то развешано, начинает казаться, что это люди, жутко неподвижные.

Я пошел назад, к калитке. Глаша уже там, смотрит мне навстречу. Села на скамейку, и я сел рядом. В Глаше что то такое появилось: бабье, простое. Взяла мою голову и положила себе на колени, а свою мне на спину. Потом я совсем лег на длинную скамейку, и не было странно или стыдно, что она сидит, а моя голова у нее на коленях, как не странно и не стыдно раненому. Время от времени я открываю глаза, вижу откинутое к березе лицо Глаши, слежу, как ветер шевелит жар на

пепелище и кровавые отблески бросаются на деревья, находят и показывают яблоки, красно черные яблоки. В голове стучит, и этот звук то отдаляется – стучит уже где то на огородах, – то возвращается в меня. Что то пустое, полое то наполняется, мною наполняется , то опорожняется. Этот стук, запахи горелых яблок, печеной картошки заманивают меня все в один и тот же сон, прерывающийся и снова длящийся: утро в нашей хате, на печке шепчутся и приглушенно повизгивают близнецы, на кухне мама, я слышу, как она рубит на доске мясо, как двигает чугунки, стучит сковородкой, и очень боюсь, что сейчас она войдет и увидит нас с Глашей, лежащих в ельнике на лапнике…

Очнулся я под яркой, бьющей в глаза синевой. В прохладной вышине колышется береза; желтая половина кроны – как внезапная седина. Воробьи, темная густая стайка, не слетели, а как то ссыпались с березы на огород. Я проводил их глазами и проснулся окончательно. Внизу, на земле, на огородах, черно и пугающе пусто. Печки не белые, как в сумерках, а грязно серые. Когда смотрел на пожелтевшие ветки, на воробьев, показалось, что слышу шум березы, воробьиное чириканье. Теперь снова все вокруг онемело, и только во мне самом шум. И легкая тошнота.

Я поискал глазами винтовку, Глашу, не увидел, неловко оттолкнувшись от края скамейки, повернулся и, поднимаясь, оперся рукой… Что то горячее податливо хрустнуло под ладонью, и страшный удар в локоть, в затылок подбросил меня. Ртом, языком я слизываю, высасываю острую боль, застрявшую в ладони, и одновременно заглатываю вкусную горелую картофельную кашицу. Глаша испуганно остановилась возле калитки с куском черной жести в руках, как с подносом, а на нем полусгоревшая картошка и яблоки. Поставила *«поднос»* на траву и виновато подбежала ко мне, но я вырвал из ее рук свою обожженную ладонь и схватился за приклад лежащей на земле винтовки – теплая! К железу приложил – не помогает. Траву пощупал – теплая. Я вертелся, искал и не находил холода. Каблуком выбил ямку в земле, втиснул в нее

ладонь – боль сразу отдалилась, земля ее отсосала, но там, в отдалении, боль осталась, как пчелиное жало. Глаша виновато трогает пальцем горелые картофелины, которые я не смахнул, которые остались на скамейке, что то говорит, наверное, укоряет меня, себя. Боль уже возвращается, и я, вскочив, выбиваю новую ямку в земле, прижимаю ладонь, и боль уходит, как вода в песок. То, что я делаю, как я верчусь, вскакиваю, бью ногой землю, хватаюсь за нее, наверное, очень нелепо выглядит, и я злюсь, что не могу не делать этого. Глаша, улучив момент, взяла мою руку, подула на покрасневшую и вздувшуюся ладонь.

– Ты что – цыганка? – я отнял руку и снова стал зарывать ее в прохладный чернозем. Глаша – ничего не оставалось – улыбнулась мне, а я ей снизу, и мы занялись каждый своим делом: я сидел, прикованный к земле, она раскладывала на скамейке наш завтрак. Подошла ко мне, вынула из моих ножен немецкий штык кинжал и стала соскребать с картофелин нагар, дуя себе на пальцы. Из самого жара набрала картошки – сплошь угли! Время от времени отрываю руку от земли, боль не сразу, но обязательно возвращается, снова ввинчивается в локоть, в голову, в затылок. Я перенес ладонь на железо винтовки – уже помогает. Перехватывая обожженной ладонью все новые, еще не нагретые части винтовки, пошел к пожарищу, к печке. Боль ушла в печку, в ее глубокий холод. Я держался за холод и разглядывал все, что осталось от хаты: несколько почерневших больших камней на углах, железная кровать, прогнувшаяся посередине, рама велосипеда, на котором давно уже не было резины, сплюснутое ведро. Была еще швейная машина, это хорошо, что ее не видно. Ведро могли и не брать, а тем более бесполезный велосипед, а машину мама унесет – главная наша ценность. Мы и до войны жили, одевались с маминого шитья, а в войну особенно.

В печке стоят чугунки. В том, который поближе, черные угли. Я достал второй, с выкипевшим почти до донышка супом, он еще тепловат, я несу чугунок в ладонях, но боли не ощущаю, забыл про боль. Ставлю

мамин обед на скамейку, достаю из кармана ложку. Пробую, съедаю немного напитавшегося дымом, горечью супа, передаю ложку Глаше и беру из ее рук очищенную картофелину. Глаша попробовала и тихонько положила ложку.

Кончили завтрак, Глаша аккуратно смахнула со скамейки на *«поднос»* очистки, гарь. Чугунок я отнес и поставил в печку. Боль вернулась в руку, и я шел по нашему саду, касаясь тепловатых деревьев, поискал среди яблок не сгоревшее, зеленое, надкусил его и приложил к ладони. Земля вся усыпана черными яблоками. Их столько, что идешь по ним, наступаешь, как на что то живое… Вот что белело ночью на заборе – клочья от белья, причудливо обгоревшего. Его тут искрами засыпало от нашей и Юстиновой хаты. Но почему его не забрали с собой: не смогли, не успели? Тревога снова окатила меня холодным потом.

Глаша смотрит в небо. Да, уже летает. Она всегда над нами, когда нам плохо, – немецкая *«рама»*. Партизаны не раз пытались сбить, но не удавалось. Говорят, что она бронированная.

«Рама» удаляется в сторону леса, нам тоже туда.

Когда после войны мне приходилось летать в самолете, все время привязывалась мысль: вот так, вот такими видела землю, хаты, нас, людей, та *«рама»*, видел он – кто то обобщенно гнусный. Ему, именно ему, не время еще видеть землю, человека с такой высоты, с которой все кажется незначительным, макетным, условным. Наверное, даже не со злостью, а весело гонялись *«мессеры»* за беженцами, когда те, как муравьи, рассыпались с дороги. Вот так же целился бы из черного космоса в стеклянно голубой шарик, которым любовались, счастливые, что они – люди, первые космонавты…

«… Слушайте, Флориан Петрович, что это у вас опять?»

С этими словами обычно появляется в моей квартире Борис Бокий, мой бывший аспирант, а теперь тоже кандидат наук, психолог. Я его никогда не видел, знаю только голос, пожатие тонкой сильной руки, быстрые шаги, энергичные, шумные движения: он для меня что то черненькое, сверкающее, острое. Наверное, худенький маленький брюнет с тонким и большим носом, *«вольтеровским»*. Я когда то отметил для себя, что люди со смешным, птичьим лицом обязательно ироничны, предпочитают, чтобы насмешка исходила от них, а не следовала за ними.

Портфель у моего Бокия всегда набит книгами, журналами, оставляет его у порога с таким стуком, будто с плеча сбрасывает. И тут же выкрикивает новости: оправдали еще одного коменданта лагеря, портретами *«человека солнца»* колотят по головам детей и женщин (семьи изгоняемых дипломатов), лейтенант Келли *«наказан»* домашним арестом…

– Что это у вас там, Флориан Петрович, опять?

«У нас там» – это здесь, на нашей планете. Борис не то чтобы увлечен, он *«разнашивает»* (так он это называет), как новую обувь, идею, гипотезу, заимствованную совершенно откровенно из какой то фантастики, романа. Мы, земляне, с высоты этой гипотезы, не сами по себе, а под чьим то наблюдением, какая то сверхцивилизация ставит опыт, чтобы решить, можно ли допустить нас, подключить к себе. Или же – *«закрыть опыт»*.

Все, что я когда то говорил ему, студенту и аспиранту, чему он тогда уважительно внимал, сейчас возвращает мне, сверяя с новой и все более неожиданной реальностью. В иронической обертке возвращает. Забывает Бокий, что сам теперь педагог и очень скоро может оказаться в моей роли. Тон этот, несколько нарочитый, поддерживается еще и тем, что Борис забегает ко мне чаще всего по звонку Глаши, которая вполголоса спрашивает, не сможет ли он сопровождать меня в институт (когда часы – Глашины в школе и мои в институте – совпадают). Борис появляется вроде бы для

того только, чтобы излить мне все, что он думает о нас, землянах.

– Слушайте, Флориан Петрович. Ведь миллиард одной глоткой орет. Заметьте! Миллиард! Нет, нет, прекращаю опыт, безнадежно.

– Потерпи. Это проходит.

– Чтобы начаться в другом месте?.. Ведь вы притворяетесь, Флориан Петрович, что можете об этом хладнокровно! Вы своими глазами видели, чем такое кончается. Человек, один раз попавший под колесо, на всю жизнь перестает верить в руль, тормоза. А вы, выходит, психологическое исключение? Или имеете что сообщить об исчезновении или хотя бы сближении *«ножниц»* между технической и нравственной культурой?

– Достаточно на первый случай чувства самосохранения.

– Не всем видам млекопитающих это помогло. И потом еще не доказано, что это чувство у человечества есть, сохранилось.

– Homo sapiens отличается еще и тем, что наделен способностью разумно выбирать пути и варианты. Не всегда он пользовался этой способностью, но теперь все так уплотнилось, ускорилось, обнажилось, что выбирать стало проще.

– Ускорилось! Скорострельные ракеты, скоропалительные идеи? Кнопки?

– Зато и другое появилось. Раньше сколько поколений рождались, жили, помирали – и все при одной формации. Казалось людям, что нероны, людовики, тираны – это навеки, что рабство, что абсолютизм, чье то самовластие не кончатся никогда. А сейчас в одну человеческую жизнь вмещаются и первое, и второе, и четвертое. Можно умнеть – и врозь, и скопом! Одной ногой в крестовых походах, второй – на далеких

планетах. Не слова это, а реальное чувство – у нас (по крайней мере, кто захватил и тридцатые годы), – что мы живые современники и тем, кто жил пятьсот лет назад, и тем, кто придет через пятьсот. Да, всем всегда казалось, что их поколение на самом изломе истории. Но тут уже действительно прямой угол. Разве нет у тебя такого чувства, что на одной плоскости – нероны, людовики, гитлеры, а на второй – гармоничный мир ефремовской *«Андромеды»*? А ты, а мы – на вершине прямого угла. И то, и другое – в поле зрения, твоя биография, твое время…

– У меня с Шиллером другое чувство: *«Когда боги были человечней, человек божественнее был»*.

– Когда это они были человечней?

– Когда не в бронированных лимузинах шныряли, а сидели на Олимпах. Всегда богам люди отдавали свои качества, начиняли их собственными достоинствами и недостатками, но никогда такой дрянью, гадостью, подлостью не нафаршировывали своих богов, как в двадцатом веке.

– Всегда исторический прогресс предпочитал пить нектар из черепа убитого. Помнишь, у Маркса? Потому и говорим, что все это предыстория.

– А история? Хатыни, Сонгми?

– Да, одна нога все еще там.

– И не погружаемся? Вспомните, как Толстого пугало, что в огромной стране нашлось несколько охотников всегласно исполнять работу палача. Сначала был один, его возили из Москвы в Киев, в Одессу – надевать *«пеньковые галстуки»*. А потом сыскалось еще несколько кандидатов в палачи, и как это встревожило Толстого. Ну, а кого удивишь такой новостью в середине двадцатого века? В Сонгми убивала даже не специально подобранная команда, а рядовая рота, обыкновенные, девятнадцатилетние. Только что от пап и мам… Какой же климат нужен, чтобы обыкновенные

были на это способны! Вам, Флориан Петрович, ни о чем не говорит такое ускорение, уплотнение?..

– Да, но когда это было, чтобы так открыто бунтовали против войны? И где? В воюющем, в сильном государстве!

– Свалятся в фашизм – куда только и денутся ваши бунтари! Нет, нет, и не просите, прекращаю опыт…

Я его не видел никогда, моего постоянного оппонента, только голос помню, ускользающий в неуместное шутовство. Мне спорить с Бокием непросто, потому что слишком часто и с памятью собственной надо спорить. То, что Бокий лишь угадывает, я вижу , потому что уже видел – вчера…

…*«Рама»* висит над лесом, куда мы с Глашей идем. То поднимается, то опускается ниже. Высматривает живые дымки. Может быть, уже сзывает своих, с бомбами. Висит над всем, бронированная, неторопливая, и точно смотрит на тебя глазом огромного насекомого.

Сон мне один запомнился, и не само событие сна, а чувство, необычное, сдвоенное. Будто я вверху, на самолете, но внизу тоже я. И вижу себя и боюсь самого себя: гоняю по открытому, как стол, полю того, кто внизу, беззащитного, маленького. И вдруг маленький, испуганный, злой – тоже я – опрокидывается на спину и стреляет, стреляет в самолет. Я почувствовал, что попал и что падаю, лечу прямо на стреляющего, сейчас встретимся, насмерть ударимся друг о друга, и я прошу, молю, чтобы падающий или стреляющий снизу, чтобы хоть кто то остался, уцелел… Лес встречает меня знакомыми тенистыми дорогами, просеками. Сосны, дубы, потом пойдут ель и сырой ольшаник, а там болото, *«острова»*, где мы всегда прятались, где прячутся наши. Сколько случилось, произошло, а в лесу все как всегда было. Мне даже захотелось показать спутнице наши с Федькой лесные тайны, но я только усмехнулся в сторону всего этого, детского. Где теперь

Федька Воробьиная Смерть? В партизаны его не пустил отец: *«Хочешь, чтобы семью выбили, матку да малых пожалел бы!»* И хитро разоружил Федьку. Подсказал, наябедничал знакомым партизанам, что у сына целый склад оружейный. Федьку прижали, он и отдал. Про все это я узнал, когда забежал однажды домой, еще до контузии. Мама тогда очень обрадовалась моему появлению, а сестренки близнецы уже с дважды двойным восторгом и уважением разглядывали брата, обвешанного оружием. Только мундир немецкий все их отвлекал: точно кроме нас четверых еще кто то в хате присутствовал, чужой. Не при маме, а когда она вышла в кухню, близнецы выдохнули разом:

– Ты его забил?.. Этого?..

И показали на мой мундир.

От мамы я узнал и про то, как Федька отплатил отцу. У них в саду был спрятан кабан – *«кормный»*, пудов на восемь. В специальной яме держали. Федька про это шепнул каким то кочующим весельчакам в обмен на обещание, что возьмут его в свою группу. Те кабана уволокли, а Федьке, дожидавшемуся их возле леса, сказали: *«Иди, батька ищет. А нам предатели ни к чему!»* Федька два дня прятался в кустах, а батя ходил по опушке и кричал на весь лес: *«Иди домой, сволочь, иди, гад, не трону, хотя убить тебя мало!»*

От мамы я направился прямо к Федьке – с винтовкой, им же подаренной, при полном партизанском параде.

– Еще один герой! – встретил совратителя сам хозяин, длиннорукий сутулый отец Федьки. – Нет на тебя батькова ремня!

Федька вышел из хаты и прошагал молча мимо нас. Я направился следом.

Был он мрачный, мой друг, какой то погасший, разговаривал нехотя.

– Ну как? – тронул мою винтовку. – Стрелял? Или

самогонку дуете там? Я себе автомат добуду.

Глянул на свою хату, где батька неловко тащил на стреху куль соломы и спрашивал у кого то по бабьи сварливо, пронзительно:

– Где эти герои? Куда он уже побежал?

… Рука моя все болит, ожог поднял толстую, мертвенно белую кожу на ладони. Я прикладываю к ней все, из чего можно выжать холод: липучие листья ольхи, влажный мох. Болото уже ощущается под ногами. Мы бредем с Глашей, а я высматриваю, что похолоднее, точно взялся измерять температуру всего, что попадается на пути.

Запах пожарищ, сажи, дыма отстал от нас, только печеная картошка из моих карманов напоминает о нем.

Уже другой запах теснит лесную свежесть, ползет нам навстречу, тяжелый, густой. Именно этот запах мы раскапывали, когда искали оружие. Невольно вытираешь уголки рта, а они снова делаются неприятно липкими.

Но лес все такой же чистый, глаза мои ничего не находят. Вдруг увидели несколько иссеченных осколками или напрочь срубленных осинок, светлых, свежих. А под ними черные, точно дегтем налитые воронки. Воронки уходят в сторону редеющего коряжника, к *«островам»*. Я уже почти бегу, Глаша едва за мной поспевает. Главное – этот зловещий липкий знакомый запах… Тут уже болото рыжее, с бородавками кочками, на которых как то пристроились, держатся кривые деревца. Тина взболтана бомбами, грязь расшвыряло, бурая трава, почерневшие плети аира точно развешаны кем то на сучьях и вершинах испуганно отшатнувшихся сосенок и чахлых березок. Чугунная коряга прижала к воде куст лозняка, с большой высоты, наверное, падала. Кусты лозняка, круглые, как стожки зеленого сена, виднеются по всему

болоту. Но никаких трупов. А запах подступил вплотную, его ощущаешь даже кожей лица, как легкую паутину.

Мы уже возле первого *«острова»*, зеленого, заросшего густым ольшаником. (До войны здесь заготавливали осоку для индивидуальных коров.) Остается лишь перебраться через черную полосу жидкой грязи, над которой, как утонувший частокол, торчат острые концы коряг, пней. А рядом еще какие то бурые островки пучатся. Я не сразу разглядел, понял, что это такое, никогда их здесь не было. Одинаковые все какие то. И вдруг увидел белеющий в болотной черноте глаз, круглый, большой, а над ним коровий рог. Тогда только сообразил, что такое эти одинаковые бурые островки. Целое стадо всосанных тиной и всплывших раздувшихся коровьих туш! Огромные бурые и черные пузыри, как спины бегемотов. Глаша не выдержала, ладонью зажала рот и побежала назад, обрызгивая себя грязью. И правда, вонь еще невыносимее, когда видишь эти пузыри.

Но пройти на *«острова»* можно только здесь, не одним мною это проверено. Как мы будет барахтаться в этой вонючей жиже? Если бы один я, а то ведь и Глаша!.. Закинув винтовку за спину, я снял с лозового куста брошенную кем то жердь и пошел с нею, как с копьем, на поблескивающий пузырь. Надо растолкать их. Раздувшаяся туша тяжело и недовольно качнулась – и только. Глаша наблюдает издали, глаза страдающие, больные.

А я (совсем как Федька на тех старых могилах) весело заорал, запел какие то бессмысленные слова:

– А мы сейчас, а мы сейчас! У покойника зубы не болят, не болят!..

Я уже не обращаю внимания на грязь до пояса, на липкую вонь, взобрался на качающуюся корягу, постоял, помаячил на ней, пошел, показывая Глаше, как все забавно и просто, потрогал шестом островок тушу и прыгнул на него. И тотчас соскользнул, как бы

даже не коснувшись туши ногами. Винтовка больно стукнула по голове, по уху, ноги мои ушли в пустоту, пальцы жадно ловят отвратительную скользоту шерсти, кожи.

Наконец ноги что то нащупали. Грязь по грудь, но я уже стою. Глаша с ужасом смотрит на меня, показывая, чтобы шел к берегу. Но тут же сама, как позванная, пошла, движется ко мне, протягивая руку. Это с ней бывает, вот так и на поляне пошла к Косачу…

Я не шевелюсь, боюсь, что потеряю опору, что напугаю ее или сам окончательно испугаюсь. Если я выползу снова на берег, никакая сила больше не затолкает меня в эту вонь. Глаша все поднимает руки над грязью, брезгливо, опасливо. Сначала сапоги, потом юбка, что поверх брюк, утонули в грязи, черная тина забрала Глашины колени, втянутый живот, чернота поднимается по серому свитеру к испуганным ее грудям, Глаша сжимает их локтями, держа руки перед лицом, возле рта… Я бросился к ней, и вовремя: почти падающую схватил за руку и потащил. Не давая опомниться ей, себе, тащу мимо раздувшихся *«бегемотов»*, хватаясь свободной рукой за коряги и ветки, и все ору громко и отчаянно:

– Чудо юдо рыба кит! Чудо юдо рыба кит!..

Заставляя себя не думать ни о чем, не чувствовать ничего, с бессмысленной и опасной торопливостью рвусь, тащу Глашу к *«острову»*. Лицо ее искажено гримасой отвращения, ужаса, забрызгано грязью. Несколько раз ноги наши совершенно теряли опору, и тогда мы бросались, как от огня, в сторону, видя свой испуг в глазах другого. Уже осока, уже близко берег, тут уже по пояс грязь, можно бы спокойно добрести, но мы, будто с тонущей лодки спасаемся, отчаянно барахтаемся и выбираемся на берег почти ползком.

Выбрались, стоим среди осоки возле кустов и приходим в себя, точно нас волок, тащил кто то и вдруг оставил. Как облизанные, обсосанные нечистой пастью чудовища, стоим, жалкие, оскорбленные, у Глаши

слезы на глазах. Я принялся ломать ветки ольхи, обдергивать липкие листья и стирать ими, обжимать с Глашиного свитера бурую стекающую грязь, с ее рук, а она стоит и плачет, раскинув руки, чтобы не касаться самой себя, разглядывает себя с отвращением. Всегда она казалась мне такой узкой и прямой, как линеечка, только высокие колени остро ломали линию. А теперь, когда одежда липко облегает плечи, грудь, живот, ноги, я вижу, что женская стройность – это ломаная линия… Глаша сердито забрала у меня ветки, и теперь я только ломаю и подношу ей чистые, заодно на ходу и себя обжимая.

Внезапно я ощутил чужой взгляд в спину нам. Так и есть: за кустом стоит человек! Винтовка у него на плече, никакой угрозы в его фигуре, одно любопытство на лице, ждет, что дальше будут делать двое, выползшие из болота на *«остров»*.

Странное и сложное это чувство – вспоминать первую встречу с человеком, который войдет потом в твою жизнь. Ты еще не знаешь, кем, чем он для тебя станет, будет, и все в нем еще кажется необязательным, как и сама встреча, случайным: улыбка, походка, глаза, жесты. Все в таком человеке как бы врозь живет. Это вначале. Ну почему обязательно черные цыгановатые глаза, если и брови, и волосы человека, торчащие из под вытертой зимней шапки, и эта дремучая небритость на щеках – все такое светлое, льняное, соломенное? Или до чего же не на месте этот удивленно длинный нос, на котором расселись аж две горбинки (зачем то две!), если у человека такой спокойный, умный, просторно белеющий лоб! К чему такие тонкие и кривые ноги, запеленатые в онучи, если весь человек и стройный, и сильный и это можно оценить, несмотря на бесформенную серую свитку, которую он безжалостно перетянул ремнем с огромной командирской пряжкой звездой! Все вначале кажется таким же необязательным, несочетающимся, почти нелепым, как и его зимняя кожаная шапка среди сочной зелени.

Да, тогда, рассматривая выступившего из за куста,

идущего к нам незнакомца, я не знал, кем он для меня станет и что нас обоих ждет, что мы испытаем… Но теперь, когда все уже было и осталась одна память, теперь у меня ревнивое чувство, что Рубеж только такой и мог быть, что другого моей памяти и не надо. Человек, если занял навсегда какое то место, точку в твоем сердце, он не свободное место занял, которое мог бы заполнить и кто то другой. Он не занимает, он создает эту светящуюся точку, без него ее и не было бы в тебе…

Винтовка у меня за спиной, я как связанный под спокойным взглядом приближающегося незнакомца. Нет, я не думаю, не хочу думать, что это полицай, но все равно привычнее себя чувствовал бы, если бы винтовка была поближе. А снять, сдернуть ее из за спины почему то неловко под взглядом этого человека. Будет и трусливо, и нарочито, демонстративно.

Незнакомец что то сказал, спросил у Глаши, та ответила, рассказывает ему, оба посмотрели на меня, незнакомец с внезапным беспокойством и как бы смущением. Все во мне загудело, вялость сковала колени. Я понял, о чем они говорят и почему так взглянул человек.

Когда смотришь на прожитое, там одна единственная линия; вперед заглядываешь – расходящийся пучок дорог, не знаешь еще, какая из них единственная. Прожил месяц, день, минуту, и то, что было пучком, ошмургивается, оголяется, как веточка, продернутая сквозь плотно стиснутый кулак. Но даже после того как остался единственный голый прутик, человек будет снова и снова оглядываться, с бессмысленной надеждой возвращаться к тому моменту, когда все могло быть еще по другому. Когда не было этой оголенной, беспощадной, единственной правды…

Я уже знал, видел правду – черный тоннель, вход в него. Но все еще с надеждой кого то умолял, не входил: только не это, только не туда! Я уже прятался за свою глухоту, которая отдаляла полную правду, отодвигала мгновение, когда больше не останется надежды.

А незнакомец уже шел впереди, показав нам, чтобы шли за ним. Кривые ноги его, обутые в сыромятные, из коровьей шкуры постолы, запутываясь, рвут густую осоку, растущую прямо из воды. Глаша зачерпывает ладонью воду и смывает с себя грязь, отломила ветку и хотела стереть грязь с моего, ставшего рыжим, мундира, но я отстранился, меня пугают ее внезапная виноватая заботливость, ее прячущийся взгляд, я все стараюсь не впускать в себя то, что уже вошло в меня, что уже знаю…

На второй *«остров»*, еще гуще заросший ольшаником, мы переходим по кладкам, утопленным, опущенным в жидкую грязь. (Потом то мы узнали, что такая же кладка есть и к первому *«острову»*. А коров утопили полицаи и немцы, когда пытались угнать их с *«острова»*. На второй *«остров»*, куда перебежали жители и где были оставлены, прятались раненые партизаны, они не пошли, и это спасло людей.)

Вооружившись длинными шестами, которые наш проводник вытащил из кустов, опираясь на них, мы ступали за незнакомцем по невидимым под грязью скользким жердочкам. Их две, а где три, ноги надо ставить поперек, и потому идем мы, продвигаемся не прямо, а бочком. Все это отвлекает, помогает прятаться от самого себя, убеждать себя, что ничего еще не известно, что дойдем до места и тогда узнаю, только тогда!..

На втором *«острове»* нас уже поджидают. Толпа женщин, детишек, несколько партизан с оружием стоят возле кустов, смотрят на нас, о чем то издали расспрашивают нашего проводника. Сошли мы с кладок на берег, у меня тоже спрашивают, потом догадались (или сказали им), что я глухой, и меня оставили в покое, только детишки с еще большим интересом принялись меня рассматривать, изучать. Обыкновенные, того времени детишки: изъеденные дымом, мошкарой, голодно большеглазые и очень серьезные, но все равно очень любопытные, желающие понять, кого это к ним на берег швырнул мир, в котором

нечто опасное, страшное происходит. Проводник что то сказал, и глаза женщин снова вернулись ко мне, снова нашли меня. Смотрят, смотрят, наверное, вот так я смотрел на Сашку, когда он полз по красной дорожке с неестественно длинной, волочащейся ногой, и Сашка вот так в моих испуганных глазах увидел, что с ним происходит нечто страшное…

Ни одного знакомого лица, люди не из нашей деревни, но на меня смотрят так, точно узнают, узнали меня. Металлически, как полая труба от удара, загудело, заныло во мне все – в ногах, в кистях рук, сразу отяжелевших. Я сел в осоку, прямо в воду. Глаша опустилась на корточки, точно давно ждала этого, сняла с моей головы мокрую пилотку и вытерла холодный пот с моего лица.

Я боюсь подергивающейся складки возле сразу постаревшего Глашиного рта, ненавижу эту цепкую и жадную женскую жалость, ищу вокруг себя что то другое, но даже в глазах детей это, беспощадно приговаривающее меня к правде. С безнадежностью пойманного я все равно ищу спасение, прячусь в торопливую мысль, что я ведь глухой, не слышу, а потому все таки ничего еще не знаю точно. Но я в кольце – лица, глаза, беспощадно жалеющие! – уходить от правды некуда. И вдруг появляется, окутывает меня расслабляющим и успокаивающим дурманом сумасшедшая мысль, что маму, сестричек, что всех деревенских уже не убьют, никогда не убьют… Смерть их скрыла, спрятала от убийц, от новых убийц…

На этом, как на последней паутинке, я провисел один лишь миг. Отшатнувшись от самого себя, жалеющего не их, убитых, спаленных, а все еще себя, я теперь уже сам устремился навстречу боли. Весь открылся и сразу захлебнулся в ней, в слезах. Вскочил на ноги, отбежал подальше и лег в жесткую осоку, прижался лицом к земле, из которой выступает холодная влага. Но земля уже не забирает, не вытягивает из меня боль, да я и не отдаю. Я уже ищу ее, боль, казню себя за то, что столько времени не знал, что их уже нет, даже

отталкивал от себя правду. Не пришел, не спас, не увел от лютой муки, смерти!..

Люди снова подошли и окружили меня, стали надо мной. А я то погружаюсь в короткое спасительное забытье, то возвращаюсь к реальности. В детстве, больной, я даже в забытьи помнил, что рядом все сидит мама. И теперь мне это представляется. Реальность и бред, как два зеркала: каждое отражает глубину другого, забирает ее в себя и снова возвращает, уже как свое… Я дома, я лежу за нашей цветастой ширмой; несправедливо обиженный мамой, сердитый на нее, плачу и воображаю, как я вырасту и не буду любить ее, не буду любить… Виноватая, добрая, ласково ироничная рука коснулась моего затылка, погладила волосы, я сразу забыл свою глупую детскую злость, схватил руку… И тут же вернулся к реальности.

Нет, это не мама! Но и не Глаша, как мне тут же подумалось. Незнакомая женщина сидит, раскачиваясь, возле меня, лицо темное, распухшее, страшное. Что то говорит, бормочет, и я даже слышу голос, но не слушаю, знаю, что мне только кажется, будто я ее слышу.

– Где ж ты был, сынку, я уже думала, нету тебя, не увижу, плакала горевала, думала, забили…

Но и другие голоса мне кажутся:

– Тетка Маланка, тетка Маланка, гэта из Белых Песков хлопец, не ваш, тетка Маланка!

Я лежу лицом в землю, но все вижу: как стоят надо мной люди, как подняли и уводят женщину с распухшим темным лицом… Да нет же, это я слышу. Я слышу!

– Флера, Флерочка, – голос Глаши. Теперь она на месте той женщины, на месте моей мамы… И еще голоса:

– Юстин тоже из Белых Песков, который лежит у нас, обгорел, спаленный.

Нет, это правда, я слышу! А что они про Юстина говорят? На заборе белели клочья белья, его или нашего, на опустевшем огороде его печка рядом с нашей. Сын его утонул, а старый Юстин шел через деревню и уже знал, что в хате гроб, что сын утонул…

Шум пульсирует в моей голове по прежнему, но сквозь него прорываются, накатываются голоса: ребенок плачет, успокаивают его, про Юстина говорят… Как бывает, когда ладонями закрываешь и открываешь уши. Но постой! Юстин? Так он здесь?

– Где он? Юстин!.. Это наш сосед. Где он?

Я вскочил на ноги. Что то во мне уже есть пугающее, это я замечаю в глазах детишек и даже в Глашиных.

Я бросился вслед за толпой женщин, детей, устремившихся на другой край *«острова»*, так, будто еще возможно что то изменить, исправить, вернуться на два дня назад. Меня вели через весь *«остров»*. Это только название *«остров»*, а на самом деле все то же болото, но чуть посуше, заросшее осокой и кустарником. Ноги по щиколотки в воде, в жидкой взболтанной грязи. На пожелтевших ветках, показывающих, где живут семьи, валяется одежонка, сидят и лежат дети, которые поменьше. Слышен их слабенький плач, и в нем даже зова нет, а лишь привычная жалоба на сырость, на облепивших их тельца болючих рыжих оводов. Нигде даже дымка не видно, наверное, *«рама»* постоянно висит над лесом.

Под единственным на этом *«острове»* большим деревом на березовых ветках лежит что то красно синее, что то в осклизло мокрой чешуе. В глазах потемнело, когда мне послышалось (или мне это показалось) сухое поскрипывание при каждом вздохе всхлипе того, кто, видимо, и есть мой сосед Юстин. Возле нею сидит старуха с веткой, водит ею, тихонько отстраняя от сожженного, казалось, сам воздух, его тяжесть. На нас и не взглянула.

– Юстин, Юстинко, вот пришли к тебе, из твоей деревни

партизан, твой сосед, Юстинко!..

Женщины, несколько голосов сразу, окликают сожженного человека, голоса сливаются в общее причитание, обращенное к Юстину, ко мне, к этому болоту, к сумрачному небу:

– Ты нас чуешь, Юстин? Пришли к тебе, вот и его мамку спалили, всех вас побили, попалили. Закрыли в хлеве и запалили, да, Юстинко?.. Всех: и внуков твоих, и невестку, и его мамку, всех… А ты выполз из огня, ты просил, чтобы добили, бежал за ними и просил, как тебе болело… Как они, Юстинко? Ты бежал, просил, молил убить и тебя… Смеялись, они смеялись, Юстинко? Смеялись: *«Живи, бандит!.. На расплод…»*

Ослепительно резануло что то по глазам, кругом стало бело бело; береза, чешуйчато поскрипывающий человек на земле, осока, болото, стоящие возле меня люди, небо внезапно вспыхнули прозрачной нестерпимой белизной, и, тут же почернев, все исчезло вместе со мной.

… Я в каком то буданчике. Снаружи ходят, сидят на корточках, что то делают люди. Никак не пойму, бред это или все, что я помню, было бредом. Но нет, все было и осталось. Я – тот, у кого всех убили. Мама, малые… Я испуганно закрыл глаза, услышав собственный стон.

Снаружи голоса, простуженные, сердито веселые (значит, правда, что я стал слышать!).

– Эй, Степка Фокусник, придумал бы хлебца. Что с твоего чучела – ни молока, ни мяса!

– Все не наиграется, куклу ему подай.

На мне какая то незнакомая, чужая рубаха из неокрашенного деревенского холста, а перед глазами, повешенный в шалаше на сучок, сушится выстиранный мой китель. Винтовка под локтем лежит и ремень с подсумками, кто то снял его с меня.

А это Глаша подошла с вещмешком в руке, постояла возле раненых партизан (я уже понял, кто это там разговаривает, смеется), ей почему то обрадовались до крика. Партизан, движением хромого поднявшийся с земли, поставил возле себя большое тряпичное чучело человека и кричит:

– Глашенька, побудь с нами. Не слышали, калеки, как соловьи опять запузыривали? Хорошие у нас соловьи, Глашенька?

– Иди к нам, Глаша, не слушай этого безногого. Соловьи ему прислышались!

– От безрукого слышу! – весело откликнулся ценитель соловьиного пения.

Глаша звонко, как бывало в нашем лагере, смеется, поднимая узкие плечи.

– Ой, очнулся! – притворно, как показалось мне после недавнего ее смеха, обрадовалась Глаша, заглянув в мой буданчик. Присела, смотрит на меня, а кричит кому то снаружи: – Катерина Алексеевна, глаза открыл, смотрит!

Еще кто то подошел посмотреть на меня, большая, закутанная в теплый платок голова. Начала кашлять, с трудом откашлявшись, голова спросила простуженным, больным голосом:

– Тебе лучше, хлопчик?

– Сейчас мы покормим его, – хлопочет Глаша, развязывая вещмешок. – А то мы уже за него боялись.

Я для Глаши уже *«он»*, *«его»*. Разучилась напрямую ко мне обращаться? Зато вон как перезнакомилась с другими, соловьями ее дразнят!

– Это что? – показываю я на чистую рубаху.

– А что? – невинно удивились синие глаза. – Ничего. Твою постирала.

– Ладно, уходи, я сейчас.

Брюки на мне тоже чистые, выстиранные – снимали, надевали, черт знает что!

Я лежа затянул на брюках ремень, ставший таким длинным, заправил рубаху. Руки и ноги неловкие, ватные, по всей коже покалывает, особенно на спине. Что то в руке мешает, как приклеилось, – сухая корка от ожога, отмершая, нечувствительная.

– Мы уже думали, что тиф, – говорит Глаша, возясь с вещмешком, раскладывая на тряпочке еду.

Что то глаза мои болят после той белой вспышки, как засыпанные. (Впрочем, к вечеру они болеть перестали. Потом, когда понял, что слепну, я про это рассказывал врачам, про ослепившую меня вспышку возле поскрипывающего сожженного человека, но они вежливо и с некоторой неловкостью выслушивали эту историю и интересовались: а не было ли физической травмы? Была, была и физическая!..)

Возле вещмешка меня дожидался обед: холодная печеная картошка, яблоки. Глаша извлекла из мешка еще что то, завернутое в ольховые листья, понюхала.

– Помнишь свинью, когда мы были в твоей деревне? Перебежала еще улицу. Хлопцы позавчера ходили в Белые Пески… Только без соли. Оставили тебе, а оно вот… Ничего, есть можно.

Взяв яблоко, я поспешил отойти подальше от этого мяса. Меня пошатывало.

Раненые партизаны (человек десять под брезентовым навесом, а трое, покрепче которые, снаружи) отметили мое воскрешение громкими замечаниями:

– Главное – на ноги встать.

– Было бы на что встать.

– Будешь, братка, охранять *«остров»*, а то видишь,

какие тут вояки.

Я запоздало поздоровался, мне ответили. Хотя я хожу, на ногах, а они лежат или беспомощно сидят, но со мной разговаривают, точно самый больной здесь я.

Один из партизан занят странной работой – из тряпья и палок смастерил куклу в человеческий рост, а теперь рисует угольком на фанерке, обозначающей лицо, знакомую физиономию: усики, аккуратную хулиганскую челку, круглый орущий рот.

Партизан в зимней шапке, тот, что встретил нас на первом *«острове»* и провел сюда, стоит, опершись локтем о ствол винтовки, и беседует то с мастером, то с его куклой:

– Не то стрелять в тебя, рвань пустая, не то честь отдавать! Молодец, Фокусник, задашь немцам задачку… Ну, что вытаращился? Нарисовали тебя, а ты уже и орать! Смотри, Степан, на тебя орет. Нарисуй ему за это кривой глаз.

Степан сидит, подложив под себя костыль, у него удивительно, даже неприятно красивое тонкое лицо. И все улыбается, а отсвет его улыбки на Глашином лице. Даже когда она не смотрит на него.

– Я штук пять их ставил уже, – говорит Степка Фокусник, вскакивая на здоровую ногу и поднимая с земли *«Гитлера»*, на которого и оперся. (Степан непрерывно и очень легко то садится, то вскакивает, хотя вторая его нога в тяжелых лубках.)

– Оба одноногие, – кричат из под брезента, – что Фокусник, что *«фюрер»*!

– Сойдет! – говорит Степан, улыбнувшись Глаше. – Любота на них смотреть! Подъедут на машинах, на мотоциклах и смотрят, как папуасы. Как так, кто посмел?! И что делать, не знают. Тронуть – боятся, что заминировано, гранатой повалить – тоже нельзя, потому что *«фюрер»*. Обсмеешься! Можешь щелкать,

как тетеруков. Усвоил, Рубеж? Действуй!

– Усвоил, – отозвался мой проводник, – только я ему сделаю начинку, требуху из тола. Он у меня поорет!

– Эх, мне бы с вами, – вдруг заскучал Степан. И сразу Глаша глянула на него. До чего же они друг друга слышат. Я все замечаю, даже каким то обостренным зрением. Но все это от меня на каком то удалении. Какая то полоса легла между мной теперешним и всем, что недавно было так важно. То, что я вижу, замечаю, что происходит вне меня, сразу погружается в общее горькое чувство, которым я налит до краев, и растворяется в нем, даже не делая это чувство сильнее или острее.

(Глаза Степки Фокусника мне особенно помнятся: светлые и веселые до сумасшествия. А лицо неправдоподобно красивое, совершенно девичье. С длинными черными ресницами. Я столько раз потом представлял, как все случилось тут через семь или десять дней: как прискакал он с костылем оттуда, где трещали немецкие автоматы, швырнул наземь пустую винтовку, сорвал с пояса гранату и сел под брезентом, подтянув к себе вещмешок с толом; как поползли к нему со всех сторон, точно к спасителю, раненые и он укладывал их головами к себе, поторапливал. Все лицами к земле, а он вот этими сумасшедше веселыми светлыми глазами последний раз за них всех смотрел на мир. И последний, кто видел эти глаза, – Глаша.)

Воткнув чучело в болотистую землю и подхватив с земли костыль, Степка Фокусник провозгласил:

– Хай будет *«фюрер шестой»*!

– А у нас в сорок первом, – не умолкает проводник (говорун он, оказывается, и ему все равно, слушают, не слушают), – у нас, как пришли вот его молодцы, перво наперво склады вывезли, а семечки (не знаю, зачем их было столько на бобруйских складах), семечки не запрещали таскать, да еще сахар с песком, ну и стояли в очереди люди, а один наш, из Слуцка, очень был

похож на этого с усиками. А тут проходил мимо немец, остановился, смотрит! И все ждут, что будет. Стоял, смотрел, думал, а потом – плясь по физиономии! За то, что на его фюрера посмел быть похожим? Или счеты с фюрером свел? Даже говорили, что поляк или словак, а не немец… Ну ладно, братцы, что вам принести на этот раз? Заказывайте, как в столовке. Есть у меня один складик…

– Задушите скоро своей картошкой, холодной и без соли, – отозвался Степка Фокусник.

И другие подхватили:

– Дойдешь с вами.

– Хлебца бы раздобыли, а то выползут, где поближе, и назад!

– Хорошо еще, что приходят назад. Я на их месте давно смылся бы. Больно вы кому нужны, безногие, сиди с вами, дожидайся капута. Верно говорю, Рубеж?

Рубеж (мой проводник) усмехается, ничуть не смущенный такой атакой. Загребая тонкими кривыми ногами по осоке, подошел ко мне.

– Пойдешь с нами, хлопец? Не, не сегодня! Отдохни, а то и через грязь не перелезешь. Тут, видишь, ртов сколько, и какие зубастые, видишь?

…*«Рама»* пролетела высоко, ровненько, как по проволоке. Казалось, она лишь чертит свои какие то невидимые линии, а до нас, до *«острова»* ей никакого дела. Пролетела, мы вышли из кустов и снова помахали женщинам и раненым. Они остаются, мы, четверо, уходим. Нас уже разделяют кладки. Глаша стоит рядом со Степкой Фокусником. Просилась с нами, но командир нашей группы (раненые его называют *«комендант острова»*) в свою очередь попросил ее:

– Если будете настаивать, я разрешу. Но надо кому то с

ними остаться. На этот раз мы все четверо уходим, и далеко – к черту в зубы. Надо хоть какие то запасы сделать. Пока еще можно.

Наш *«комендант»* – ленинградец, об этом говорят, как о его личном качестве. И его вежливое *«вы»* ко всем, даже к подросткам, и застенчивая молчаливость, готовность длинно и сложно объяснять то, что другой командир решил бы одним *«да»* или *«нет»*, и сама юношеская стройность этого седоватого забородатевшего человека в красноармейских обносках – все сливается для нас с понятием *«ленинградец»*, окрашено им и окрашивает его. Короче, *«комендант»* нам нравится, и потому очень кстати, что он именно из того города, которого ты хотя и не видел никогда, как не видел прекрасно таинственного северного сияния, но без далекого неназойливого существования которого не представляешь ни себя, ни мира.

– Я и его не брал бы, – кивнул в мою сторону *«комендант»*. – Это вот Рубеж затеял.

Невеселые мы уходили, как будто уже знали. А тут еще эта тетка Храмелиха! Принесла Глебу Васильевичу, *«коменданту»* нашему, портянки, постиранные и сухонькие, хотя все дни моросил густой дождь.

– Где вы, тетка, сушили? – удивился Глеб Васильевич. – Огонька мы вроде не держим.

– Сакрэт ёсць, – сказала женщина, – носите здоровенький.

Но девочка выдала теткин секрет:

– Тетка Храмелиха на себе сушила, под кофтой.

Ленинградец наш покраснел, даже снял с ноги портянку, словно бы не зная, как теперь быть. А тут еще другая женщина вмешалась, попросила:

– Вы хоть не покиньте нас одних, хлопчики.

– Да что мы, алиментщики, – запротестовал Рубеж, –

чтобы убегать?

– И ваши ж тут, раненые, – все таки напомнила женщина.

Мы пересекли второй *«остров»*. Вот оно, место, где нас с Глашей тогда встретил Рубеж. *«Комендант»* закурил немецкую сигаретку, и все по очереди потянули дымку по нескольку раз, чтобы не так налипала на нёбо проклятая вонь. Я тоже получил глоток дыма – голова сразу поплыла, закружилась. Глеб Васильевич с укором глянул на Рубежа, с беспокойством – на меня.

– Все таки зря мы вас, Гайшун, взяли.

– Ничего, волка ноги кормят, – сказал Рубеж, – а ему надо подкормиться.

Я промолчал, потому что мне вдруг захотелось вернуться на *«остров»*.

Из кустов вытащили длинные шесты, специально припрятанные, и двинулись по кладкам. Утопленные жердочки ускользают из под сапог, а тут еще захлебываешься вонью: коровьи туши совсем всплыли, их точно больше сделалось. А Рубеж тащит еще и *«фюрера»*, Степкин подарок (*«Обменяете у фрицев на галеты»*). Этот смешной долгоносый и тонконогий Рубеж ухитряется даже на скользких кладках рассуждать, говорит, говорит и за себя, и за нас, и за *«фюрера»*, и даже за раздутых *«бегемотов»*.

– Давай, давай, циркачи! Это вам не возле теток греться. Тащи меня, носи, раз дурак! (Фюрерским голоском.) Пы ых! Па а! Нюхайте нас, вонючек! (Глухим басом неподвижных *«бегемотов»*.)

… Но главный собеседник Рубежа, как оказалось, – сама судьба, доля партизанская. Болтает с нею Рубеж постоянно, с нею или от ее имени. Как со сварливой женой. От бормотания его (а мы уже двое суток бродим по округе) начинает казаться, что нас в группе больше,

что рядом кто то пятый – глупая и вздорная баба, от которой неизвестно чего жди. Та самая партизанская доля.

– Вот я вас еще сверху побрызгаю, а то мало вымокли в болоте, – злорадно обещает сварливым бабьим голосом Рубеж, взглянув на низкое небо. И, точно по его зову, нас уже поливает.

И так всю дорогу, и днем и ночью. *«Рама»* с нами побеседует:

– Вот и я? Соскучились? А это вы? Сичас, сичас, я вот только полетаю над вами. Сичас пришлю с бомбочками.

Луна, некстати яркая, вдруг захихикает, как дурочка:

– Ах, какая я круглая и светлая! А соловьев вам не прислать? Могу!

– Пошел уже каркать! – гневается на Рубежа наш четвертый партизан, болезненный, бледный даже под коркой грязи, Скороход. Он с первого километра захромал, бредет, раскорячивая ноги и покачиваясь налево направо. Чиряки обсели человека, и в самом неудобном, трущемся месте. А тут еще фамилия – Скороход, сплошная насмешка над человеком! – Ну зачем ты этого психа тащишь? – сердится Скороход, точно не Рубежу, а ему самому приходится нести чучело фюрера.

– Я его! А может, он меня? – отзывается Рубеж. – Не было бы его, и ты не натирал бы чиряки, сидел, как бог, в Минске. Какие ж мы *«вылупни»* будем, если я его брошу? Без *«фюрера»*?

Мы уже *«каюкалы»*, *«мукомолы»*, *«пукалы»*, а Рубеж все подбирает нам имя по нашему незавидному положению: *«туебни»*, *«подмацаки»*, а теперь вот *«вылупни»*. Что ни случается с нами и у нас на пути – вроде так и должно быть: а чего еще хотеть от *«вылупней»*? Щавель заячий вместо галет, на которые мы раззявились, – а что, для *«мукомолов»* и это

слишком хорошо! Пугнули нас, бежали, и Скороход потерял в грязи рваный ботинок, остался с одним – на то и *«дерибздяи»*, чтобы терять! Ничего веселенького в таком веселье нет, но вроде и правда легче от этого неуважения ко всему дрянному, что с нами случилось или может случиться.

Один Скороход и устает, и мокнет, и голодает, и лютует, и пугается – все всерьез, презирая ерничество, которым Рубеж заразил и меня и даже нашего *«коменданта»*.

И когда в третий раз налезли на засаду и мчались, как лоси, через горелый, звонкий от пуль и эха бор, Скороход в одном ботинке бежал первый, а потом остановился и злорадно смотрел, поджидая нас: ну что, все еще весело?! И, как бы назло (не Скороходу, а кому то и чему то вообще), *«вылупни»* стали давиться смехом, а Рубеж в третьем лице пошел рассказывать, как подходили к опушке, как *«туебни»* смотрели на сытых немецких лошадей, а Скороход будто бы завыл по волчьи и как им, *«вылупням»*, по зубам, по зубам! И как *«пукалы»* улепетывали: *«Ноги мои, ноги, несите мою женю!»* И дальше картинки: как найдут немцы брошенного Рубежом *«фюрера»* и как наорет чучело на них за то, что упустили Скорохода, *«вылупней»*…

Я участвовал в этом странном веселье, но меня не покидал, а все рос какой то внутренний ужас перед самим собой. Что это я, неужели это я?..

Идем навстречу пожарам и ночной стрельбе, все вокруг преображено заревами, тревожной неизвестностью и тем, что произошло со мной. Все не могу поверить, согласиться, что я – это тот, у кого так страшно убили маму, сестричек, что это и есть я! Что война, что немцы, смерть рядом – это уже не мешает мне быть . Но в мире все еще нет меня, у которого всех убили. Но и прежнего меня нет. Все делаю, как они, Рубеж и Глеб Васильевич, еще больше, чем они, веселюсь, потешаюсь над *«вылупнями»* и над гневом Скорохода, но что то чужое, странное теперь во мне есть, заметное даже со стороны: я слышал, как Рубеж сказал у меня за спиной: *«Зачем я, дурак старый, потащил парнишку? Во что с*

ним делается!»

Опушка и дорога через луг, ночное поле отглажены, отлакированы светом пожаров и скачущих над горизонтом ракет. Из темноты вдруг вырываются трассы пуль, подстерегающие, ищущие нас. Вначале они беззвучно понесутся и только потом, будто металлическую цепь потянут, продернут: *«та та та…»*

Среди поля тень твоя делается длинной и многослойной: зарева, луна, ракеты жадно ловят, останавливают, повторяют тебя, твое присутствие, двоят, троят, растягивают. Мы бредем, уставшие, голодные, то наступая на свои длинные, как дорога, тени, то неся их сбоку, то волоча за собой. Нам уже надоело падать, метаться при каждой ракете. За нас все это наши тени проделывают. Взлетит ракета – тень испуганно, по собачьи метнется к твоим ногам, съежится и уплотнится; ракета опускается, тает – тень стремительно растягивается, унося твою голову, плечи куда то в поле. А вокруг двигаются, шевелятся полутени от зарев и луны, наползают друг на дружку и тут же снова трусливо покидают тебя, как только взлетит близкая ракета.

Наконец мы добрались до густого жита, к нему Глеб Васильевич держал направление от самой опушки. За житом дорога, которую нам надо проскочить. Утопили свои тени в реденьком истоптанном жите, бредем как по глубокой желтой воде. Луна над нами круглая, большая.

– Нет, вы гляньте, – шепчет Рубеж, – как все растет в войну. И сколько самосейки вместо человеческого жита. Растет все, как злится. А, не умеете вы жить, тогда я! Раз не умеете, как люди!..

– Вы Спиноза, Рубеж, – говорит Глеб Васильевич. Он напряженно вслушивается в татаканье пулеметов, прикидывая, где нам сделать бросок через дорогу.

– Убивают человека – лес сразу на вершок подскакивает, – бормочет Рубеж нам в затылок.

– Тебя стукнут, – не выдержал Скороход, – на два подскочит.

Скороход, как только приостановимся, начинает пеленать портянкой свою необутую правую ногу, обвязывать ее. Никак не решится выбросить и второй ботинок.

– И правильно! – соглашается Рубеж. – Раз сами не умеем. Забьют – и буду расти, все дороги, все поля заращу, заполоню.

Слушаем далекий перестук пулеметов и непонятную тишину белой от лунного света дороги, клочок которой нам виден, а рядом шепот, бормотание и странные глаза человека, как бы умоляющие: *«Да остановите меня, видите, что со мной, это не я, это со мной!..»*

Я вдруг подумал и, кажется, понял, что человек этот тоскливо боится, он почти как больной. У другого такое выразилось бы иначе, а у Рубежа – в непрерывном серьезном или смешливом говорении, в котором он топит свой страх. И вовсе он не подразнивается с самой смертью, как считает Скороход, совсем наоборот. Страх перед собственным страхом, тоскливым, обессиливающим, вот что мучит, заставляет его быть таким: он все время готовится, готовит себя к какой то черте, которую всегда видит, о которой не умеет забыть, как другие умеют.

– Сейчас мы вас выудим из этого жита, – бормочет Рубеж, – где вы тут, милые?

И правда, щелкнула ракета, на этот раз близкая. Поднялась, сделала дугу и упала метрах в ста от нас. Мы затаились, кто на корточках, кто на коленях, в жите, налитом, как аквариум, желтым светом. Ракеты одна за другой щелкают, взлетают, зависают огненными каплями, будто высматривая, куда падать, и тут же устремляются вниз.

Можно убежать, но убегать бессмысленно. Немцы где то здесь, рядом, но именно это нам нужно: засесть

поближе к ним, но чтобы они об этом не догадывались. За их счет мы хотим разжиться чем то более калорийным, нежели картошка и заячий щавель, вот и надо сидеть наготове и ждать момента. Теперь только разобраться, какие тут немцы, где у них что. Правда, мы рассчитывали идти дальше, но, если на дороге этой сидят немецкие посты, засады, значит, по ней скоро потянутся обозы, стада. Глеб Васильевич вслушивается, прикидывает и все трогает свою небольшую бородку – привыкает к ней.

– Не нравится мне, – говорит Скороход. Он вдруг взялся разматывать портянку, отбросил ее. Снял свой единственный ботинок и тоже отбросил сердито. Приготовился к чему то.

Да, неуютно будет в жите, когда уйдет ночь, которая, как темный коридор, связывает нас с далеким лесом. День надолго отрежет нас от леса, а без него нам очень не по себе. Хоть бы какой нибудь лесок. И как унесем, угоним мы что либо по открытому полю: тут как бы и свое не бросил!

Когда мы еще шли по житу, справа чернело что то, кажется, кустарник. Туда и сносит теперь наши мысли, наши глаза. А следом и ноги наши подались – тихонько, гуськом. Росистое жито холодит колени, плащ мой (подарок *«острова»*) напитался водой, сделался как жесть. Ракеты погасли, не взлетают больше, осели и зарева над горизонтом, ночь предрассветно посерела. Жито кончилось, а вот и кустарник, уходящий за пригорок. Глеб Васильевич, не глядя, тронул, толкнул подсказывающе рукой тех, кто стоял поближе, и мы поползли. Я и Рубеж. Полы жесткого брезентового плаща попадают под колени, мешают. И кажется, что гремит этот брезент на всю округу!

Мы были уже возле березовых кустиков, когда резко щелкнула и засветила ракета прямо над нами. И тут же, как обвал, загрохотал пулемет, совсем рядом. Что то произошло, живой близкий звук настиг меня, дрогнул в самой руке. Что то сделалось, я это ощущаю в руке, но все не понимаю что. А пули с икающим звуком

втыкаются в кочки, в землю около головы, возле самого плеча; краем глаза я вижу устремившуюся к нам огненную иглу, исчезающую, появляющуюся, как жало…

Пулемет замолк внезапно, как и начал стрелять. Но ракеты все взлетают одна за другой. Нам хорошо видно, что ленинградец и Скороход лежат в луговой траве ближе к житу, чем к нашим кустикам. Ага, вот что дрогнуло, по живому дернулось в моей руке – попало в приклад, разбило мою винтовку. Мы с Рубежом заползли глубже в кусты и оттуда смотрим, как завозился Скороход, приподнимаясь и глядя в нашу сторону. А ленинградец все неподвижен. Потом Скороход пополз к житу, он рывками подтаскивает к себе ленинградца, раненного или убитого. Вот и разломалось то, что еще минуту назад было нашей группой. Что мы такое теперь и что собираемся делать? Странно, но человек, чем напряженнее он прикидывает, решает, что и как ему сделать, тем отрешеннее, с непонятным посторонним любопытством и даже вроде безучастно наблюдает: ну а что я сделаю сейчас? И вроде дожидаешься самого себя, вроде тебя тут еще нет.

– Всё, хана! – шепчет Рубеж. – Не переплывут они сюда.

Ракеты больше не взлетают, немцы успокоились, однако ночь, прячущая темнота, не вернулась, совсем уже рассвет! Мы осматриваемся, оценивая наше новое положение. Теперь мы уже не то, что были десять минут назад, и все видим по другому, как после внезапного короткого сна. Никакого тут леса и даже леска нет, клочок березняка, и только. Мы окружены голым, открытым полем.

– Жди теперь, куда понесет, – бормочет Рубеж.

И правда, такое ощущение, что жидкий туманный рассвет все дальше относит нас от оставшихся в жите и все ближе к дороге, где затаились враги. Мы уже видим гравийку – желто серую полосу среди луговой зелени.

И потекло время. Оно текло по дороге: все происходит, меняется там, а мы только можем смотреть, ждать.

Мы знаем, что из жита вот так же следит за дорогой и за нашим березнячком Скороход, гадая, что мы собираемся делать. Чтобы решать что то вместе, нам нужно ползти назад, к житу, и нам очень хочется это сделать, просто сманивает нас к себе закрытая житная полоса. Но ползти теперь – значит окончательно выдать немцам наше присутствие. Мы так и не знаем, случайно, вслепую полоснул близкий пулемет или они нас заметили и теперь следят, ждут…

Только теперь, когда утро наступило, видим, как неудачно мы вышли к дороге: все тут, конечно, просматривается, простреливается до самого леса. Теперь жди ночи, а за долгий день столько и такое может случиться. До чего же сильно в нас отвращение к *«открытому пространству»*! Выработалось за все это время.

Чтобы заглушить сосущую тоску, тошноту, мы с Рубежом начинаем завтракать. В мешках, приготовленных под немецкие консервы и галеты, лежит у нас десяток потертых картофелин, мы их и жуем. Я все пробую проверить, смогу ли стрелять из винтовки без приклада. В жите десятизарядка ленинградца, но туда не переберешься. Пить хочется, мы оглядываемся с бессмысленной надеждой, но пока не заговариваем о воде, можно еще терпеть, всякой муке свой черед!

– Смотри! – шепчет Рубеж.

Из за желтого бугорка земли, прикрытого березовыми ветками, которые наломали, наверное, в наших кустах, поднялся немец. Повертел головой и вышел на гравийку. Странно вдруг увидеть того, кто стрелял в тебя. Без каски, в зеленой плащ накидке, немец сделал руками вращательное движение. Щурясь, весело поглядел в нашу сторону. За спиной у нас поднимается солнце. Нет, немцы не догадываются о нашем присутствии: не разгуливали бы они по дороге. Вот

немец что то сказал, звук его неожиданного голоса прозвучал по утреннему громко. Солнце розовато окрашивает мягкие изгибы молодых березок, гравийку под ногами у немца. Свет этот лег и на лицо, на руки солдата, издевательская радуга блестит от его рук к земле. Солдат крякнул, натужился – из окопа отозвались смехом. Нагнулся и взял, наверное, из чьих то рук звякнувшие котелки. Шаркая сапогами, пошел по гравийке, и жито закрыло его.

– Вы смотрите, – сказал за него Рубеж, – а я подрубаю как человек.

От солнечных лучей стена жита как бы изнутри засветилась, сделалась светло оранжевой. А там, где лежит пилотка нашего ленинградца, покачивается несколько совершенно красных надломанных колосков. Не сразу поймешь, что это кровь. Жив ли он теперь? Красные колоски тихонько, отяжелело покачиваются. Начали уже свою деловитую стрекотню кузнечики. Один, зеленый, щелкнул о разбитый приклад моей винтовки, сел мне на рукав.

Наверное, у немцев там кухня, доносятся голоса, смех, взревела машина. (Всякий звук – такой внезапный!) Затарахтели и промчались мимо нас два мотоцикла с установленными на колясках пулеметами. И понеслось время, как с обрыва. На дороге. А в наших кустах будто остановилось, замерло под знойным стрекотанием кузнечиков. Эта стремительность и одновременно неподвижность растягивают, разрывают, что то хочется сделать, кажется, вскочил бы на ноги, показался бы, а там будь что будет! Чтобы вырваться из этого состояния, я затеял возню с винтовкой: снял, перерезав кинжалом, ремень, который удерживает отбитое полено приклада, и прикидываю, примериваюсь, как буду стрелять, когда подступит то самое мгновение. Оно еще не подошло, не подступило, оно где то впереди, но там оно есть, это мгновение.

– Ну где ж он? – нетерпеливо бормочет Рубеж. – С завтраком.

Долгоносое лицо Рубежа пугающе серьезно. Пошел бормотать! Я уже злюсь на него, как недавно Скороход.

Брезентовый плащ, которым меня одарили на *«острове»*, просыхает, светлеет пятнами. Душно в нем делается, как в мешке. Надо снять. Вечером можно будет надеть, а днем не пригодится. Не побежишь в нем, а впрочем, бежать тут не придется – некуда.

Из кармана достал гранату и положил перед собой: черная, круглая, с нежно голубой головкой немецкая матрешка. Ее вытачивали, заряжали, чтобы немецкий солдат бросил ее в меня, мне под ноги. И не думали, что она будет мне другом, страшным, последним моим спасением. Вот так отвернуть голубенькую головку, дернуть и прижать черный металлический мячик к земле собой, своим телом!.. Граната немецкая очень долго не взрывается, шесть или даже семь секунд. И рвет не сильно, не далеко, только очень громко. Еще на третьей, даже на четвертой секунде можешь откатиться от нее в сторону подальше. Или отшвырнуть. Опасная граната. Для такого дела. За шесть секунд как только не перерешишь! Шесть секунд удерживаться на самой вершинке – сможешь ли?

Даже если перед тобой что то страшнее самой смерти.

Считается, что люди потому столь беззаботны к неизбежному исходу, к смерти, что умеют не думать о ней, не знают своего срока. Но в тот невыносимо долгий день я чувствовал другое: я мог лежать, расслабив ноги и руки, ощущать, как сухо пахнет земля, слушать стрекотание кузнечиков, жадно жевать последнюю картофелину и думать о далеком счастье глотка воды, я все это мог, я слушал бормотание Рубежа, злился или усмехался, одним словом, жил, как вообще живут, но именно потому, что у меня была возможность смерти, заслоняющая меня от чего то более ужасного. Да, к счастью, я был смертен. Хотя и помнил я о мучениях, пытках, которые ждут партизана, попадающего живьем в руки фашистов, но не это мне представлялось самым страшным, страшнее смерти. В миг последнего решения – подорваться! – будущая жестокость врага

должна показаться такой неблизкой, а часы, сутки полона – целой вечностью жизни, тогда как граната, смерть – вот она! И потому для человека не пытки, мучения (которые когда еще будут!) страшнее самой смерти, а отвращение, непереносимое и острое отвращение к тому первому мгновению, когда ты стоишь или лежишь перед ними, а они смотрят на тебя. Именно это, уже не страх, а отвращение к чужой, к полной власти над твоей болью, жизнью, это направляет руку, в которой зажата последняя, для себя, граната. Проскочив эту черточку, миг первой встречи с неволей, человек потом может и не помнить про такое чувство. Но оно, слава богу, существует, оно вдруг включается в человеке, которому приходится выбирать самую смерть, и нет, наверное, человека более свободного, чем в такие мгновения…

Сейчас много пишут, хлопочут об удлинении человеческого века. Одноклеточные вообще не умирают, так почему группы клеток обязательно должны быть обречены на старение, умирание? Хорошо бы, конечно, нам, многоклеточным, жить вечно. Только как тогда с пожизненным тюремным заключением? Оно ведь еще практикуется на планете. Где то отменяется, где то восстанавливается. Или со смертной казнью, с нею тоже приходится считаться. Долгожителю пришлось бы расплачиваться бессчетными десятилетиями или даже столетиями жизни за человеческое стремление к свободе, справедливости, к своему и общему счастью. Настолько ли он Прометей, чтобы решился рисковать, пожертвовать не двадцатью, а двумястами годами жизни? Во всяком случае, практики на этот счет у людей нет…

Истинно свободен тот, кто готов пойти на смерть, это и сегодня верно. И вопрос не в долгожитии, а в том, свободнее были бы они, почти бессмертные, или же надо еще погадать подумать? Не рабье ли это желание, во всяком случае, на сегодняшней планете – жить и жить?..

Все это так, и все таки!.. Если иметь в виду

семнадцатидвадцатилетних, которых так любит всякая война, так они ведь всегда жертвовали бессмертием! В семнадцать, в двадцать твоя жизнь видится бесконечной. Вот она и практика, миллионы раз повторявшаяся!

Во всяком случае, Флера, тот, что лежал над гранатой, куда симпатичнее мне самому, нежели его наследник Флориан Петрович, что так держится за свою ослепшую жизнь, за обидную свою любовь, слишком напоминающую палку слепого. Вон как вцепился (слухом, всем существом своим) в Глашу, в Косача, непонятно молчащего сзади, в Сережу, который своим существованием, присутствием должен защищать от чего то, от Косача…

… Флера лежит над черной немецкой матрешкой с голубенькой головкой, касается ее гладкого холода то подбородком, то щекой, ждет, когда происходящее на дороге (машины уже пошли) внезапно скомкается, взвоет испуганно и торжествующе злобно и устремится к нему, на него. Это произойдет, как только немцы узнают, что Флера здесь, что его можно убить. Как они всполошатся и обрадуются, что это можно! Даже не верится, что для них это так важно – Флера!

Но тут же и наоборот все представляется: вот он встал бы, открылся, пошел, куда вздумается, а машины все так же проходили бы своей дорогой, ведь тут не кто нибудь, а всего лишь он, Флера… Он лежит над черной гранатой, как над пропастью, и знает, что в тот самый миг, как они устремятся к нему, он соскользнет вниз… И он смотрит на дорогу даже с любопытством. Рубеж что то бормочет, шепчет, рассказывает за тех, кто на гравийке и кто в жите, за само жито (*«Осыпалось я, мышам на радость!..»*), а Флера его не слушает, он рассматривает своих убийц.

Ушли, отревели и отдымили машины и броневики, начали двигаться обозы – большие, по цыгански накрытые повозки и обыкновенные крестьянские телеги, а на них и рядом – немцы и власовцы в зеленом, полицаи в черном или просто цивильном. У всех у них

обиженные лица.

Это мы с Флерой вблизи, в упор разглядели, запомнили в тот день, в те дни: у палачей, у убийц всегда на лицах, в глазах обида. Обида на тех, кого уже убили, убивают, должны убить… Особенно обиженные физиономии были у немцев, которые шли после обоза, на поводках у них овчарки, бредут не по дороге, а по обочине, по траве, рукой подать до Флериных кустиков. Эти гонят сбившуюся в горячий пыльный ком толпу людей, полураздетых мужиков и босых женщин с детишками. Овчарки внезапно начинают рваться к кустикам, к Флере, к житу, натягивая короткие поводки; конвоиры в широких пятнисто зеленых и черных плащах сердито дергают их, подталкивают к дороге, к толпе. То один, то другой конвоир вместе с собакой бросается к людям, тесня их (рычание, детские вскрики!), а когда они возвращаются назад (еще ближе к кустикам), обида на узком, на полном, на круглом, на худом, на рябом, в очках, без очков лице проступает еще заметнее, гневной краской. Они проходят мимо, уволакивая, уводя рвущихся к кустикам овчарок, и от этого нам кажется, что и дорога с людьми, и обочина, и луг, по которому идут и пробегают немцы с овчарками, что все это накреняется, вот вот сползет, ссыплется, свалится нам на головы! Этого уже почти хочешь, так мучительно ожидание…

И тут случилось! Два или три человека из пыльной толпы метнулись к житу. О, как обиженно взвизгнули овчарки, как торжествующе! Одни бросились, увлекая за собой конвоиров и увлекаемые ими, к житу, другие – к оставшимся на дороге людям. Мы с Рубежом переглянулись: *«Конец, всё!»*

Несколько резких очередей, и дальше только крики, лай. Немцы спустили овчарок и теперь боятся подстрелить их. Да и куда денутся беглецы из этого окруженного открытым полем жита? Два немца забежали со стороны кустиков, мы смотрим в их зеленые, пятнистые от пота спины, по охотничьи напряженные. А жито кипит собачьим лаем, рычанием,

густым рваным дыханием. Внезапный ровный стук – пять выстрелов десятизарядки. Ленинградца нашего винтовка? И тут же совершенно дворняжий визг. Наверное, подстрелили овчарку.

На миг все замерло. Первыми опомнились и бросились назад, к дороге, два немца, слишком далеко забежавшие с нашей стороны. Но те, что были у дороги и которых много, устремились к житу. И все потонуло в испуганной пальбе и криках.

… Когда убитых ты прежде видел живыми, замечаешь, что мир не сразу принимает мертвого: все вокруг должно еще привыкнуть к его присутствию. Потом, когда и час прошел и полдня, а трупы всё перед глазами, они постепенно делаются как бы частью самого мира, враждебного, тревожного, в который пойманы и мы с Рубежом. По дороге едут, идут немцы и *«бобики»*, а те, что ночью сидели в окопе, все бегают с котелками, и только мы с Рубежом да убитые неподвижны. Глеба Васильевича и Скорохода немцы увезли как неожиданный радостный подарок, трофей, а перед этим долго толпились возле них. Убитых мужчин и, кажется, одну женщину из колонны бросили у дороги, мы их теперь видим, вот уже два часа они у нас перед глазами.

Убили человека, человека не стало, и тогда появилось это – лежащее на траве. Возможно, еще до захода солнца убьют и тебя, и снова что то появится в мире, и так же, как ты сейчас, кто то, чьи то глаза будут привыкать к этому.

Рубеж провалился в странную дремоту. Только успел сказать: *«Ты пока посмотри, ладно?»* – и заснул лицом к земле. Кожаная вытертая шапка отвалилась на сторону, спутанные соломенные волосы сплелись с травой. Я на него посматриваю с беспокойством. У спящего, особенно когда человека вот так настигает сон, что то очень мертвое в позе. Уже кажется, что лежит слишком долго, и все вокруг к этому начинает

привыкать… Кто из нас двоих увидит второго вот таким? Кто раньше появится перед глазами другого? Мне все припоминается из довоенного фильма: люди подошли и смотрят на чистый пустой снег, ждут, и вдруг на нем начинает проступать, проявляться человек, убитый английскими полицейскими невидимка.

Я готов уже разбудить Рубежа, не хочу видеть этой его позы, боюсь ее, как самого последнего одиночества в мире.

По дороге снова идут машины, а когда возле окопа остановился танк, я толкнул Рубежа. И удивительно, как я обрадовался, когда увидел живое лицо, заросшее светлой щетиной, носатое лицо Рубежа.

– Давно они? Что же не разбудил?

Шепчет громко и так, точно, проснись он раньше, чего то не допустил бы. Человек всегда просыпается в мире немножко ином, чем тот, который оставил засыпая. В доброе время – с радостной готовностью догнать отдалившееся. В плохое – с беспокойством человека, не знающего, куда переместилась опасность.

– Как это я заснул?

Смотрит на дорогу, на убитых, просыпаясь окончательно.

– Что ж, братка, делать, если и нас забьют? Скажут там: сбежали!

Да, *«остров»*, Глаша…

– Совсем им плохо будет, – прикидывает Рубеж.

Там нас ждут, там само время отмеряется: в прошлое – нашим уходом, в будущее – нашим возвращением. А ведь это единственное на земле место, где нас, где меня ждут, и как это, оказывается, необходимо, чтобы человека ждал кто то. Раньше, давно давно, когда живы были мама, сестрички, я об этом не думал, как может

подолгу не думать человек о солнце: оно всегда есть и будет, пусть даже оно и забыто за тучами.

Теперь только Глаша, *«остров»* о тебе помнят, нуждаются в тебе, именно в тебе.

… Когда ракета падает, земля как бы приподнимается ей навстречу. И все, что можно видеть в падающем свете ракеты, будто на цыпочки встает: зачем то посмотреть, куда упала. И ты тоже отрываешь от земли, поднимаешь голову, тянешься туда.

Вчера мы с Рубежом долго уползали от таких же ракет, от проклятой гравийки, где потеряли ленинградца и Скорохода, где оставили убитых незнакомых крестьян. Сначала в жито перебрались, ползли по измятому беглецами, овчарками, немцами житу, а потом поднялись и пошли. И когда встали на свявшие от долгого лежания ноги, мир сразу раздвинулся, мы уходили через поле к лесу, подпираемые своими короткими тенями, и они радостно, преданно подтверждали, что мы есть, существуем…

Но прошло два дня, и ракеты снова прижимают нас к земле, только сейчас мы не уходим от них, мы ползем им навстречу. Ничто ведь не изменилось, и нам необходимо добыть хотя бы чего нибудь, с чем можно возвратиться на голодный *«остров»*. Ничего стоящего мы еще не встретили. Правда, видели в лесу корову, но взять ее не смогли. Что мы найдем в деревне, куда ползем, неизвестно. Но что то надобно делать, хотя бы вот так ползти к полицейскому гарнизону по неубранному картофельному полю.

– Ну как после теткиного молочка? – подбадривает себя и меня Рубеж, который лежит через две борозды от меня.

Это он припоминает ту самую корову, наверное, воображая, как мы сейчас вели бы ее на веревочке к *«острову»*, вместо того чтобы ползти к черту в зубы.

О, как обрадовались *«вылупни»*, когда неожиданно увидели ее на лесной поляне: полтонны мяса на сооственных ногах и даже веревочка на рога накинута! Это было такое чудо, что *«вылупни»* даже уселись на травку полюбоваться и наверняка убедиться, что это не сон. Убежала, наверное, от немцев. Рубеж вытряс из кармана кортовых галифе все пылинки табака, но бумаги нет, и он пополз по траве, отыскивая сухой лист, ему нужен обязательно дубовый. Ползает, а глазами ласкает полные бока нашей буренки. Взялся высекать кресалом огонь. Пока добыл огня и покурил, успел историю рассказать.

– Была у нас в Слуцке семья одна. Вылупень Тимох, а у него полная хата девок, семейка вроде моей. Мои и теперь в Слуцке. Если старших не похватали в Германию. А что, все может быть!.. Меня как забрали в сорок втором весной в обоз – словаки тогда шли на партизан – и как попал к партизанам вместе с тем обозом, так и не подходил к Слуцку близко. От греха подальше. Жонка знает, где я, а детям лучше, если и не сказала. Не дай бог, проговорятся, что Тимох Рубеж в партизанах! Живут дома, ну и пускай живут, пока можно. Ага, так я про Вылупней… Кличка у них такая была, у той семейки. Бестолковая хата, у нас про таких говорят: *«Как сало без хлеба!»* Но какое там сало? Хоть бы хлеб был. Есть такие семьи, что ни говори, липнет к ним бедность, нищимница, как короста. И случилось чудо: Вылупни купили корову! У цыган. Но не были бы то Вылупни! Надо молочка – хватает кружечку и под корову. По очереди каждый. Как водопровод. Неделю или две бегали, пока не испортился водопровод.

Рубеж уже раскурил свою дубовую самокрутку и взялся срезать бересту с дерева, кружечку готовит. Вылупни, поди, надоумили!

И тут мы увидели тетку. Она держится за орешину и смотрит на незнакомых людей, ползающих возле ее коровы. Что корова ее, мы поняли сразу.

– День добрый! – поздоровался Рубеж, даже обрадованно.

– Ой, так напугалась! – женщина пошла к корове, чтобы дотронуться до нее. – Смотрю, кто это? Аж это партизаны, наши!

Сказала, как напомнила. На женщине длинная темная юбка, фуфайка, волосы растрепались, ноги босые.

– Только достала ее из ямы, пустила, отошла на шаг, а тут незнакомые люди! – Женщина все не может успокоиться.

– Откуда сами, тетка? – спрашивает Рубеж, продолжая трудиться над берестовым стаканчиком.

– С поселка, на поселке мы живем… жили. А как стали они кругом вески палить, то и к нам прилетели утречком, на самом золку. Глянула в окно – немцы, полный двор, о господи! В хату заходят, один, переводчик, спрашивает: *«Вы за кем считаетесь: Убойное или Бобровичи?»* Все знает гад: это ж когда то хутора, поселки в деревни сселяли, только наш двор не успели или как то остался. Он и спрашивает: к Убойному или Бобровичам мы приписаны? Я сразу догадалась: *«Гэта ж яны приехали палить, забивать Бобровичи или Убойное. Потому и пытают, чьи мы»*. Гляжу на него, на детей своих гляжу. Так мне не хочется сказать, что Убойное. Не знаю… Может, потому, что в ту войну у нас многих поубивали и когда французы шли, дед рассказывал, тоже мы сгорели. Что сказать, как ответить? *«Убойные?»* – спрашивает переводчик. Смотрю на него: подсказывает или ловит, о господи? И не поймешь, только усмехается, с усиками такой! *«Мы бобровичские»*, – тихонько говорю. А руки, а ноги аж загули! Он еще постоял, усмехнулся, с усиками такой: *«Ну ладно…»* Слышу, сказал немцам что то про Убойное. Не Бобровичи, а Убойное. Хотела как лучше, а сама в огонь лезу. А он немцам: *«Убойное!»* Всетаки ты человек! Потому что они Бобровичи шли убивать. А я схватила детей, коровку вот – и в лес. Они Бобровичи спалили, всех побили, а вечером и Убойное тоже. Залетели еще раз и на наш хутор, спалили. Со мной тут семья из Убойного, женщина…

В густом ельнике вырыта яма, как делают солдаты для машин и орудий, с плавным спуском.

Тут женщина и прячет свою корову, сюда и загоняет ее теперь, как бы показывая нам, что вот тут ее место, и нигде больше. А из ямы на наши голоса поднялись, выбрались две девочки (одна – в длинном мужском пиджаке с завернутыми рукавами, вторая – едва прикрытая рваным платьицем) и мальчик, неожиданно пухлый, толстенький.

– Что же у вас песок желтый виден? – упрекнул Рубеж. – Ну ка, малые, собирайте мох. Вашу хованку за километр заметят.

– Ой, и правда! – привычно испугалась женщина. – Мы закрывали песок, но видите, какие у меня работники.

Девочки тут же отбежали рвать мох, а пухлый мальчик подошел и, чтобы удобнее было нас разглядывать, привалился к ноге женщины.

– Сынок той женщины из Убойного. Где мама, Павлик? Там у них своя ямка.

А она уже появилась из кустов, женщина из Убойного.

– Идите смело, гэта ж партизаны, – сказала хозяйка коровы.

– Што гэта деется, хлопчики, што буде? – сразу же заговорила худенькая веснушчатая женщина, очень похожая на такую же веснушчатую девочку, которая шла за ней. Только у девочки лицо серьезное, очень строгое, а у женщины оно странно улыбается.

– Что у вас было? – спросил Рубеж.

– Что? Побили нас, и все. Из хаты в хату переходили и забивали. – Женщина сказала это как то очень просто. – *«Заходите в хату! Ложитесь ниц! Ложитесь!»* И – стреляет.

– Зачем же дожидались? Разве не знали, что они

делают?

– Кто и убежал, мы вот убежали. А то боялись которые. Они через старосту объявили, что Убойное не тронут, а Бобровичи жгут потому, что от них много молодежи в партизанах. А наших там нет, староста так сказал. И кого в лесу найдут, сказали, застрелят. И правда, сначала приказали мужчинам с топорами, лопатами собраться – дорогу ремонтировать. Кто не спрятался, объявился, они тех мужиков собрали и стали гонять по пляцу в конце деревни. С поднятыми руками по кругу бегают, а песок, а песок!.. Кто отстанет, бьют. Мы в окна смотрим, что это они делают с нашими. А они это, чтобы утомить людей, бо, ведомо, мужчины, они сопротивляться будут. Это чтобы потом легко было в гумно загнать. Загнали и стали ходить по хатам. Музыку на улице пустили, кричит музыка, а они ходят, и какая то стрельба. А я бабам говорю: *«Гэта ж яны людей забивають»*. Мы это, семей десять, собрались все в одну хату, чтобы не так страшно. *«Убивают нас»*, – говорю я. В окно смотрим, на улице людей не стреляют, не трогают, а только видим, что показывают: *«Заходите в хату!»* Смотрим в окно, как немцы зашли, трое или чацвёра, в одну хату и столько же в хату напротив, побыли там и вышли, поправили автоматы и опять к хатам идут, все ближе к нашей. Подходят к калитке, смотрят на нас, а мы из окна – на них, смотрим и так плачем, так плачем… Не знаю что… Они пропустили кого то, вспомнили и вернулись назад. Схватила я детей – и на огород. Музыка кричит по деревне… (Пухлый ленивец Павлик подошел к рассказывающей женщине и прислонился теперь к ее ноге.) Мы за колодцем спрятались на огороде, прикидала я детей картофляником, лебедой, присыпала песком, а с улицы немцы все подходят к колодцу. Выпьет холодной воды: *«А ах!»* Хорошо, значит. Руки моют, плещутся, смеются. А на мне косы растут… Не слышно немцев стало, тогда он (тронула голову Павлика) и она (взглянула на девочку с немигающими глазами), они мне: *«Мамо, мамо, бежим, бежим, мамо, нас не забьют!»* Это ж они видят, что я уже помирать собралась. Бо куда ж тут денешься? А они: *«Не забьют*

нас, и все!»

Лицо женщины не участвует в том, что совершается в ее рассказе. (Зато всё на лице, в немигающих глазах девочки, стоящей рядом.) Женщина точно сама в случившееся не верит, как бы у нас спрашивает, что это такое ей привиделось, виновато и неловко улыбается. И все оглядывается, где ее дети, здесь ли.

– Ну поползли мы к колхозным гумнам, а там уже горит, а немцы пулями свистят, свистят… Это же они там мужчин забивают, палят. А нам все слышно, как кричат, воют люди, о господи! Как пищат и, гэта, кричат, брешут! Мы между горящих стен, меж сараев. Стена – так, и так, и так… Я детей собой накрыла, песок на ноги подгребаю, бо жгет, так близко огонь, волосы на голове трещат, смолятся… А Павлик все равно: *«Мамо, нас не забьють»*. А где тут не забьют, если мы уже горим, и куда нам ползти, то там немец стоит. Я его вижу за дымом. Не выдержала, встала на колени, поднялась – скорее пусть убьет! Что ж, живыми гореть? И дети уже от огня пищат, бо горим. А немец замахал на дым, согнулся и пропал. Ну и мы поползли, побежали из огня, из дыма…

Улыбка на худеньком веснушчатом лице женщины нелепая, странная, но нам она не кажется безумной. Просто ушли все мерки: когда человек должен плакать, когда улыбаться. И все кажется, человек не верит, что это было с ним, могло быть такое, что это правда, у нас спрашивает, правда ли было.

Как это страшно, когда человек улыбается.

… Лай собак далеко уходит в один и в другой конец улицы – большая деревня. Взлетает ракета, и тогда все приходит в движение: длинные тени, как огромные рычаги, поворачивают сараи, хаты, деревья. И тут же, как скрип сухого деревянного ворота, пулеметная очередь. Рваные трассы пуль уходят в поле, нам за спину. Это происходит, повторяется через одинаковые

промежутки времени, будто и на самом деле самозапускается какой то механизм. Значит, тут немцы есть. У полицаев такой методичности не бывает. Днем мы видели, что в деревне стоят машины.

От росы, от сырости плащ сделался твердым, как скорлупа, как панцирь. Я лежа освободился от своего брезента, перепоясался ремнем с подсумками по немецкому кителю, а плащ оставил возле дикой груши среди картофельного поля. И все почему то оглядываюсь на него, как на кого то третьего и самого хитрого из нас. Рубеж ползет по борозде и тоже оглядывается, точно и его сманивает назад тот, третий. Резкий ночной запах холодной гари. Похоже, что деревня, в которой мы собираемся разжиться чем нибудь съестным, не такая целая и благополучная, как показалось нам, когда изучали ее днем из леса. Рубеж тогда здорово изображал, как переложим, перегрузим мы сало и колбасы из полицейских деревянных бочек кублов в свои жадные мешки и как появимся с этим на *«острове»*, а нас встретят визжащие от восторга пацаны и пляшущий на костыле Степка Фокусник.

Чем ближе человек к опасности, тем он – после какого то момента – делается неосторожнее. Уже кажется, что все равно произошло непоправимое, что был слишком неловок и уже вроде бы все равно, как кончится, только бы поскорее все произошло. Чем глубже вползали мы в полицейскую деревню, стараясь, однако, держаться в сторонке от выступающих в поле построек (там обязательно пост или засады!), тем яснее становилось, что совершаем заведомую и опасную бессмыслицу. Первый же наш шаг по деревне поднимет весь гарнизон. Собаки, правда, и на ракеты, и на пулеметные очереди отзываются лаем. Но как они взвоют, почуяв нас!

Ползешь по грядам, пахнущим укропом, наталкиваешься на твердые и холодные головы тыкв, но такое ощущение, что не ползешь, а растягиваешься через все поле, как пружина, закрепленная одним концом далеко позади, где остался плащ. И не знаешь,

куда тебя в следующий миг – вперед швырнет или отбросит назад. Пружина с каждым метром становится туже и все сильнее тянет назад. Цепляешься, держишься локтями, коленями за мягкую землю и на каждом метре пути будто оставляешь что то, как плащ оставил, выползши, вылузавшись из него. Ты уже по всему полю. И уже самому незнакомо, чужое то, что продолжает ползти вперед, крадется к стенам, к окнам хаты. Как поступит, что сделает в следующий миг человек с тяжелой, нагревшейся в руке гранатой и с укороченной, без приклада, винтовкой, которую он волочит за собой?

Стукнула в сенях внутренняя дверь!.. Звякают металлические запоры, распахнулась звучная наружная дверь. Пока оглушительно сменялись все эти звуки, Рубеж с неожиданной легкостью добежал до угла сарая и стал там. Я быстро прополз к дощатому забору и замер.

А во дворе мужской прокуренный кашель, человек смачно сплюнул и направился в сторону сарая, промаячил надо мной, белый, в исподней рубахе.

– Подойди, дядя.

Неужели это Рубеж произнес? Такой голос – резкий и ироничный – у Косача.

– Это… это кто? Кто тут!

– Тише, сюда иди!.. Ты кто? Полицейский?

– А вы? Хлопцы…

– Ладно. Сарай открыт?

– Н не знаю… Что вы хотите делать, хлопцы? Тут же немцы. Два дня, как стали.

– Знаем. Сейчас выведешь нас из деревни. Вместе с коровой. Понял, дядя? И не вздумай чего! Выведешь, можешь назад бежать.

– Сичас, хлопцы, я сичас. Раз надо – надо!

– Люблю сознательных. Флера, сюда иди. Где тот ремень? Потише… Показывай, дядя. Скрипучие у тебя все двери. Надо смазывать… Что это немцы собак не постреляли? Непорядок!.. И ты белый, и корова… Чем вас накрыть?

– Я возьму в хате…

– Винтовочку? Это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень его прозвище. Запомнил? Вот тебе мешок, закрой рубаху.

… Мы возвращаемся на *«остров»*. Корова у нас великолепная: большая, черно белая, с огромным выменем. Мясо будет, а молочко уже есть. Чуть не на руках выносили ее из деревни: хозяин за рога, а мы под бока. Быстро и как только могли тихо уходили по огородам, а потом бежали, прижимаясь к звучным, екающим бокам, подталкивая. Возле леса остановились, задыхаясь. На радостях Рубеж попросил у дядьки закурить, и тот очень огорчился, что нет с собой, захлопал, как петух, по карманам черных галифе. Но тут же убрал ладони, словно от горячего – брюки явно полицейские. И сапоги крепкие, армейские.

– Здорово мы прошли! – говорит дядька. – Как засветит ракетой, ну, думаю!..

– Ну вертайся, пока еще темно, – добродушно говорит Рубеж.

– Ага, пойду, чтобы не догадались.

– Ну тогда иди.

– У нас не полиция, а самооборона. Два дня, как немцы приехали, в школе разместились.

– Иди, ладно.

– Жалко, закурить не захватил.

– В следующий раз.

– Пойду, посплю еще.

– Ага, поспи.

Мы побежали дальше, уже от дядьки. (Все таки слишком полицейские на нем брюки, так и жди, что поднимет, приведет погоню.)

Но нам весело: то ли потому, что сами отпустили, а теперь спасаемся бегством (*«Так вам и положено, «вылупням»*), а может, потому, что возвращаемся наконец на *«остров»,* и не с пустыми руками.

Но скоро наши понукания и толчки в мягкие коровьи бока перестали помогать, корова пошла шагом, тяжело нося раздувшимися боками, а потом и вовсе остановилась. Посматривает на нас добрыми недоумевающими глазами: вот вымя, молоко, что еще вам, *«вылупням»*, от меня надо? Мы тоже устали, расслабленно сидим, прислонившись затылками к соснам, слушая гудящую в них неспокойную тишину рассвета. Рубеж, пошарив в своей свитке, извлек сплющенный берестяной стаканчик. На согнутых ногах, как бы не в силах распрямить колени, не подошел, а подтанцевал к коровьему вымени. Корова даже мукнула ему, как хозяйке. Рубеж умело огладил набухшее вымя, цыркнул себе на ладонь и помыл коровьи соски, вытер ладонь о колено. И пошел доить в березовый кулек стаканчик. Я невольно рассмеялся, так это похоже на его рассказ про семейку Вылупней.

– Вот так и мои девки с кружечкой бегали, – сказал Рубеж. – Шесть их у меня.

– Ваши? А вы про соседа рассказывали!

– Про соседа? Может быть. Каждый кому нибудь сосед. Мало, что ли, на свете *«вылупней»*?

Тут мне подумалось, что и дома Рубеж был такой же,

там, тогда научился он любую неудачу, постоянное невезение сопровождать невеселым смехом над самим собой. И часто, поди, приходилось быть веселым с такой то семейкой!

По детски вытягивая губы из за белой щетины, Рубеж попробовал из стаканчика.

– Сопьемся мы с тобой. Вот это житуха! Повезло и *«вылупням»*!

Мы по очереди проглатываем теплый, пенящийся, пахнущий утром, детством напиток, и правда, голоса, слова наши, смех делаются все громче и бесконтрольнее, как у пьяных.

– Где теперь наш дядька? – вдруг вспомнил Рубеж. – Хорошие у него *«колеса»* были, хромовые. А штаны все таки полицейские.

Посмотрел на свои *«колеса»* – на сыромятные лапти, на закоревшие от грязи онучи и оборы.

– А может, он ищет нас, хочет обменять на мои. Ладно, побежали, а то и правда, распировались раньше срока.

Дожидаясь ночи, мы снова отдыхали. Самое трудное было впереди. Что нас поджидает на шести километрах открытого поля, мы могли только догадываться, на хорошее, однако, не очень надеялись. Рубеж снова заболел безудержным бормотанием – тоже невеселый признак, примета. Отвязывая от дерева выдоенную и накормленную сочной лесной травой корову, огорчается, на этот раз за корову, вместо нее:

– Оставалась бы я лучше зубром! Все равно надо по лесу бегать. Зато была бы зубром!

Попробовали затереть, замазать грязью роскошные белые материки на коровьих боках.

– И днем тебя видно, и ночью, – укоряет Рубеж.

Ночь постепенно расползается из леса на опушку и все

дальше, на поле, от горизонта ползет к небу, затирая все пятна, остающиеся ото дня. Но появились новые пятна – от пожаров, они растекаются по темному сырому небу многослойно, радужно, как керосин по воде. Там, где пожаров нет, где выгорело вчера, позавчера, небо черное, как сажа, а на нем последние искры звезд.

Тревожная пустота поля втягивает нас, как труба, невольно начинаешь спешить, уже перешли на бег. Рубеж сечет корову прутом, я, перекинув ремень через локоть, удерживаю ее морду, повыше, подальше от сурепки и жита самосейки. Ей все кажется, что мы уже пришли и можно заняться травкой. Винтовку свою я несу за ствол, благо коротенькой сделалась. Стрелять из нее, бесприкладной, можно от живота, как немцы из автомата, но, может быть, не понадобится. Вот только это поле перейти.

Поле не пахали, не засевали уже несколько лет, но старые борозды остались, неожиданные, опасные для коровы. А для нас ее ноги теперь дороже собственных. Идем мы уже около часа, забирая все левее и левее, но зарево тоже влево сползает, нам наперерез, оно переливается через край горизонта на наше поле. Это беспокоит все больше, именно там невысокая ступенька леса, к которому мы добираемся. Уже вершины елей различимы на тревожном небе. И чем ближе мы к лесу, тем быстрее стараемся идти. Рубеж хлещет скотину прутом, я дергаю, тащу за ремень. Корова сбивается с ноги, копыта деревянно щелкают от бега.

Вдруг что то хрястнуло, корова споткнулась. Первая мысль – ноги! Сломала!

На нас водопадом обрушился свет взлетевшей ракеты, свет густой, вяжущий. Я еще разглядел возле самого леса стога сена. Оглянулся и увидел Рубежа, на ногах, живого. И тотчас понеслись на нас, мимо нас, сквозь нас огненные иглы. Бьет пулемет в упор, из за стога плюясь огнем. Показалось, что десятки светящихся игл пронизали пространство, которое заполнено моим неловким огромным падающим телом. Отпустив

ремень, рухнул наземь. Я лежал и извлекал из сознания эти иглы, как занозы, убеждая себя, что вот он я, что жив и даже не ранен!

Корова спокойно срывает стебли сурепки. По этому слабому звуку понял, что стрельбы уже нет. Кончилась внезапно, как и началась. Но близкий лес уже не кажется нашим спасением, он угрожающе, тяжело нависает над нами, распластавшимися на земле. Рубеж лежит неподалеку от меня неподвижно и терпеливо. Я попытался, не вставая, поймать корову за свисающий ремень, но она чмыхнула, сделала несколько шагов в сторону и стала нюхать землю. Не решаясь позвать, окликнуть Рубежа, я пополз к нему. И только когда был совсем рядом, подумал плохое: человек лежит ртом в землю, свалившаяся с головы зимняя шапка кажется пустой опрокинутой чашей. Рука моя коснулась головы, волос Рубежа, неожиданно мягких и теплых (это мои пальцы отметили, запомнили!).

– Тимох, Тимох! – я почему то назвал его по имени впервые, и оно прозвучало как чужое. Но это и был уже не Рубеж, а кто то, появившийся вместо него. Рубеж оставил меня одного, наедине с этим перед самым лесом, где за стогами затаились враги. С каждым мгновением тот, кто лежит возле меня, становится все более мертвым, чужим. Руки мои сделались липкими и большими от прикосновения к нему. Я попытался забрать винтовку Рубежа, но неподвижная рука его не отдает, крепко держит. Точно кто то раньше меня перехватил винтовку.

Как бы давая мертвому время для чего то, я уступил ему винтовку и пока что стал выгребать патроны из его сумки. У Рубежа винтовка немецкая, нужны и патроны его. Запихал обоймы себе в карманы, нагрузился и снова стал тянуть винтовку из мертвой руки. Рука потянулась следом за винтовкой и наконец отпустила.

Я перебрался в заросшую травой старую борозду, чтобы лучше было уползать или стрелять, когда пойдут сюда от леса. Вспомнил и поискал глазами корову. Она быстро уходит от нас. Сначала она белая на темном

фоне леса, и когда вышла на зарево, сделалась угольночерной. Даже мой ремень виден, раскачивающийся, тянущийся к земле. Ноги еще в темноте, а туловище, голова на фоне горящего неба. Удаляясь, вытаскивая ноги из темноты, как из грязи, корова поднимается все выше, вырастает. То, что корова уходит, сразу вернуло меня к главному, я подумал про *«остров»*. Но тот, кто лежит неподалеку, требовательно ждет от меня чего то. Я снова пополз к нему. Попытался, просунув руку под мертвую, липкую от крови тяжесть, тащить следом за удаляющейся коровой, даже протащил несколько шагов, пока не понял, что не это я хотел сделать.

Корова все чернее делается от света над горизонтом и все больше вырастает, быстро и весело вытаскивая ноги из черноты. Я отложил винтовку в сторону и руками, липкими меж пальцев, подгреб немного земли к ногам Рубежа. Мертвый снова становился Рубежом, я уже привыкал к реальности, к мысли, что Рубеж убит, мертвый. Подгреб еще земли, сделал это, точно спрашивая у мертвого. А наша корова уходит, ее размывает светом, и она словно тает, ноги уже не касаются мерцающей черты горизонта. Я встал на колени и взялся торопливо нагребать влажный песок поближе к Рубежу, но еще не наваливая на него. Я сдвигал песок руками, коленями, самой грудью, почти лицом, я точно сам зарывался в землю и все ждал, что эти мои резкие, неосторожные движения снова обрушат на нас пулеметный огонь. Но чем острее чувствовал свою неосторожность, тем неосторожнее и торопливее все делал, как бы нарочно, назло чему то, кому то… Песок у меня во рту, за воротником, в волосах. Наконец я решился, разом надвинул горку песка на лежащего в борозде Рубежа. Я делал это, стараясь не глядеть, не думать, быстро, торопясь, чтобы кончить, не почувствовав всего. С какого то мгновения уже не впускал в себя происходящее, я был переполнен, а остальное сливалось на сторону. К счастью, для человека это возможно.

Мокрый, в грязном поту, с хрустящим на зубах песком,

я остался один среди поля. Я так торопился завалить песком, засыпать мертвое тело, чтобы оторваться от этого места, уползти за нашей коровой, но вот кончил и лежу не двигаясь. Все вдруг показалось таким нереальным, захотелось просто переждать, пока оно все исчезнет само. Я отрешенно наблюдаю, как уходит корова, тоненькие ноги совсем не касаются земли, она ими быстро перебирает, отталкивается от света, мерцающего, как бы испаряющегося над горизонтом.

(До сих пор не понимаю, почему так странно вели себя те, что обстреляли нас из за стогов. Возможно, это был немецкий или полицейский *«секрет»*, а не засада, и они просто поозорничали, потому что *«секрет»* должен лишь наблюдать, не выдавая себя. Но очень уж открыты мы были их пулемету на подсвеченном поле – соблазнительно!)

Наконец я уползаю от леса, от Рубежа, от некончающегося кошмара следом за коровой, тоненькие ноги которой снова начали месить черноту, погружаться за линию горизонта. Я волоку винтовку убитого, ползу с тяжелым, тупым безразличием, делаю единственное, что могу, хотя и не рассчитываю уже ни на что.

Корова внезапно замерла на месте. Наклонила голову, понюхала горизонт и, резко повернувшись, пошла влево и назад, снова к лесу. Я тоже пополз туда, наперерез ей. Корова снова взошла на испаряющуюся черту горизонта, а оттого, что смотрю на нее снизу, как из темной ямы, показалась она мне огромной и совершенно черной, какой то зубр одинец. Пот заливает глаза, смешался с липкой кровью, измазавшей мне шею, с песком, в котором я барахтаюсь, я похож на утопающего, делающего последние безнадежные движения. А корова приблизилась, но снова повернула, уходит в сторону метрах в ста от меня. Прямо к лесу, где стога, где сидят немцы, и я ничего уже не могу! Ни одного движения больше не могу сделать. Слезы смешались с грязным потом на моих губах, стекают на липкую шею. Я взял ком земли и жалко швырнул вслед

корове, которая вблизи снова уже пятнисто белая, реальная, весело помахивающая хвостом. Теперь, однако, она более недосягаема для меня, чем когда спускалась за горизонт. Ремень издевательски раскачивается у ее передних ног.

Мне казалось, что моя обида, моя ненависть к ней это сделали: корова вдруг споткнулась, наступив на ремень, и остановилась, нюхая землю. Я хищно погребся к ней, какие то силы ко мне вернулись. От усталости нестерпимо щемит зубы, они точно выталкивают друг дружку из ряда.

Я ползу и скриплю зубами и обливаюсь не то потом, не то слезами, гребусь к этой гадине, к своему убийце, чтобы схватиться за ремень и замереть, как спасшийся. Хотя бы на одну единственную минуту замереть, неподвижно лежать, зная, что не уходит, не убегает, что можно не шевелиться.

Ползущий, ползающий перед нею, я пугаю корову, она перестала срывать траву, смотрит, слушает, готовая повернуться и снова уходить, убегать. С набившимся в рот, в уши песком, мокрый и обессилевший, я злобно шепчу солеными губами:

– Коровка, коровка, коровка…– И почему то: – Кось, кось, кось…

Но не коровой и не лошадью, а хитрым и издевающимся убийцей представляется мне это существо: оно заодно с теми, кто сидит возле леса за стогами и сейчас убьет меня. Если стронется с места, станет уходить, я вскочу на ноги – пусть стреляют! Я тянусь к ремню, точно он меня из пропасти вытащит, только бы схватиться! Корова, немного привыкнув к моему присутствию, снова жует, ремень подрагивает у самой земли, метрах в десяти от меня! Я вижу ее темно поблескивающий глаз и боюсь смотреть, боюсь напугать жадностью и злобой, которые в моих глазах. Я уже улыбаюсь мокрым лицом, шепчу какие то слова, замирая от нежности и ненависти. И тихонько подползаю, не переставая улыбаться и шептать.

Схватился за ремень так, что корова испуганно рванулась, протащила по земле мое уставшее и счастливое тело. Что хотите теперь, а я буду лежать! Лежать, лежать…

Лицом к измазанному светом небу, вслушиваясь в тишину леса, счастливо вбирая в себя близкое дыхание коровы, я лежу и минуту, и вторую. Месяц прямо над моим остывающим лицом. На круглом диске, как за матовым желтым стеклом, знакомые с детства тени силуэты, и они действительно похожи на человеческие: и фигура падающего, и того, что отшатнулся в ужасе от содеянного…

Теперь мы передвигаемся так: я задом, на боку, отталкиваясь локтем, винтовкой; корова, пугаясь этой моей позы и движений, то рвется в сторону, то вдруг отстанет, натягивая ремень, делает круги. Если немцы смотрят, их, наверное, удивляет этот цирк. А что, если они по опушке передвигаются к тому краю леса, куда я ползу, тащу корову? Или же дожидаются там? А я спиной, задом – прямо в руки к ним!

Не зная, как быть, я лег снова, жду. Корова стоит надо мной, испуганно натянув ремень, в выпуклом зеркале ее глаза черно переливается далекое зарево. Вдруг оно кругло вспыхнуло, коровье око, блеснуло. Ракета, щелкнув, повисла над тем местом, где остался Рубеж. Вторая – в нашу сторону. И тут же тонкая огненная струя. Несколько пуль, хлюпнув, вонзились в коровье тело. Оно точно икнуло, большое и неловкое, глотнув их. Я дернулся к ней на помощь, точно еще мог сделать что то, поправить, корова тоже подалась в мою сторону и упала на подломившиеся передние ноги. Широко и жутко, по человечьи она раскачивала головой из стороны в сторону, потом бросилась всем телом на землю и замерла. Ноги снова дернулись неожиданно и резко, больно ударив меня по локтю, оттолкнув.

А я все держу ремень, прижимаясь к земле.

Круглый выпуклый глаз забирает в себя далекое зарево, оно переливается, мерцает в черной глубине. Но глаз

уже мертвый. Из откинутой коровьей шеи, поблескивая смолью, бьет фонтанчик, иногда он падает на светящееся зеркало глаза, гася его. Снова вспыхнула, поднялась ракета, я прижался к коровьему брюху, прячась, и вдруг разглядел на вымени белые прожилки молока. Ракета погасла, но я все вижу живые белые ниточки на черной смоле крови. Не знаю отчего, но именно эти белые струйки – точно прощения кто то у кого то просит! – невероятно на меня подействовали. Я не просто заплакал, я беззвучно закричал, как от нестерпимой боли. Измазанный кровью, землей, потом, вымотанный до крайности, я смотрел на эти жалкие чистые детские струйки ниточки и плакал, как случалось плакать только в раннем детстве: каждой жилкой своей, каждым вздохом. Во мне была такая беспредельная, такая детская обида на целый мир, что защищаться я мог только ею, желая лишь, чтобы мне было еще хуже, чтобы уже совсем плохо было и чтобы умереть, назло или на радость всем им …

Огромный немигающий глаз луны висел над замершим полем, над черным валом леса, над горящим горизонтом. А в этом глазу, как в зеркале, два человека что то друг с другом делали, что то страшное совершалось…

– … И вы, Флориан Петрович, будете меня еще убеждать? Нет, если бы за нашей планетой наблюдал я, давно бы сделал оргвыводы!

На этот раз Борис Бокий, швырнув на диван свой набитый книжной тяжестью портфель, стал рассказывать про Хатынь, где он побывал, про кладбище полтысячи белорусских деревень.

– Да вы же в натуре это видели, Флориан Петрович! Ну вот объясните, как такое возможно. Нет, я не про фашизм как систему, в этом я еще могу разобраться. Хотя и не возьмусь объяснить все эти метастазы, которые обнаруживаются на самых неожиданных континентах. Но вот конкретный человек, рожденный

от человека, отдельно взятый исполнитель?

– Не было… Отдельно взятого не было. Извечное *«мы»*. Оно самое: *«мы – немцы!»*, *«мы – арийцы!»*, даже *«мы – наследники Шиллера и Канта!»*. Да, да, то самое *«мы»*, без которого невозможна коллективная человеческая история, но здесь оно со знаком минус. Изъято лишь сознание, чувство, что над всеми *«мы»* есть самое общее и главное: *«мы – люди!»*, *«мы – человеки, человечество!»*. Во имя самого, главного и все остальное, а иначе даже гордость, что *«соотечественники Канта и Вагнера»*, оборачивается варварством, одичанием. Такая самодовольная *«культурная дикость»* уже Толстому казалась особенно опасной. Где уж тут думать о ближних и дальних и не делать другим того, чего не желал бы себе, ведь другие – не *«мы»*! У них одежда, цвет кожи, обычаи, язык, уровень, условия жизни вон какие не такие! Толстой приводит и такой пример: людоеды ставили ниже себя, считали дикарями свои жертвы именно за то, что те питались лишь фруктами да овощами. За то, что они не людоеды! Так почему устроителям Освенцимов и Хатыней не смотреть свысока на тех, кого они истребляли? Я вот уверен, что в Хатынях и это имело значение: например, непохожесть наших деревень на ихние, черепичные. Для *«человека разумного»* различие между народами, расами, людьми – повод для радостного удивления, размышления, зато для *«голой обезьяны»* – лишь основание презирать и кусать всех, кто на нее, арийку, не похож.

– *«Народ, избравший самого себя»*, – так говорил Заратустра!

– Особенно на обращении с пленными это было видно. Сначала холодом и голодом доводили людей до жуткого, почти нечеловеческого облика, затем какой нибудь добродушный вахман гнал их к ямам расстреливать и вздыхал, может быть: *«Нет, что ни говори, а что то в них, и правда, не от людей!»* Думается, весь вопрос в том, повышает ли данная идея

способность человека сочувствовать чужой боли, страданию. Или же понижает, притупляет эту самую человеческую из всех способностей – чужую боль ощущать, осознавать как свою собственную и даже сильнее. Если притупляет, тогда это наркотик, ничем не отличающийся от героина, которым во Вьетнаме каратели усыпляли свою совесть. Ну, а техника этому поможет. Вон хотят установить на рисовых полях и лесных тропинках электронные датчики, механических соглядатаев наразбрасывать. Прошло рядом что то теплое, живое – на инфракрасной пленке далекого аэродрома появился пучок света, тут же взлетели начиненные смертью самолеты. Не только сочувствия, но даже и ненависти уже нет. Пучок света на экране – какие тут могут быть чувства?

– Вот вот, дорогой Флориан Петрович! Что же получается? Раньше миллионы лет *«мы»* бродили стадами по холодным плато, расставшись с райскими обезьяньими кущами, каких то полста тысяч лет *«мы»* – существа, так сказать, разумные. Но как только ими стали, разумно разбежались в самые дальние концы планеты, подальше от других, которые для нас уже не *«мы»*. Потом снова обнаружили друг друга, открыли, узнали, обрадовались, а заодно и колонизовали тех, кто послабее и попроще. Аж до атомной энергии homo sapiens поразумнел! И что же? Не по второму ли витку идем? Не тот ли самый разумный рефлекс подталкивает, подначивает нас разбежаться снова, уже по всему Млечному Пути? Вы как хотите, а я за это! Соберемся как нибудь попозже. А?..

– *«Знание мое пессимистично, но надежда, вера оптимистичны»* – хорошо все таки сказал Альберт Швейцер!

… Если я сполз с поля, облитого предательским светом, добрался до своего леса, а днем к *«островам»*, то вела меня и вывела, наверное, все та же нестерпимая детская обида – внутренние слезы, которые я точно нес кому то. И я принес их к *«острову»*, зная, ожидая, как

обрадуются мне, как бросятся навстречу и как я обо всем расскажу. Что будет дальше, потом, я как то не думал, не заглядывал. А что я им приносил, кроме вести, что все убиты и только я живой? Погибли все, на ком держалась надежда не пропасть с голоду.

На бегу я жевал что попадалось: щавель, ягоды.

В лесу возле первого *«острова»* все тот же запах, но теперь это знак, что я почти дома. Поискал в кустах – все шесты на месте. Я даже пересчитал, точно не отказался еще от мысли, что Скороход или Рубеж вернулись раньше меня. Я шел к воде, когда меня окликнули:

– Пришли?.. Хлопчики!..

Прислонившись к болотной сосенке, сидит женщина. Ноги вытянуты обессиленно прямо, на коленях грязный узелок. Глаза пронзительно блестят на истощенном, иссохшем лице. (Как то услышал я в рассказе бывшего военнопленного: *«Целые полгода болел этой смертью»* (то есть голодной, умирал от голода. У болеющих голодной смертью глаза всегда такие – вопрошающе пронзительные.)

– Вот и хорошо… Пришли…

Не хватило воздуха обрадоваться, и женщина глубоко вздохнула. Показала на свой узелок.

– Щавельку собрала… Хорошо, что вы…

Она смотрит, ищет глазами остальных, хочет увидеть, что мы принесли ее детям. Только тут я осознал, что означает для *«острова»* мое возвращение, какое отчаяние и безнадежность я несу.

– Да, пришли… сейчас… да, – я бормотал что то, показывая назад, как тогда на лесном кладбище, удаляясь, уходя от женщины, и все не бросал шест. Споткнулся, упал, усмехнулся (вот, мол, упал!), а пронзительно горящие глаза женщины с ужасом цеплялись за меня, удерживали меня, гнали меня.

Я уже почти бежал, бросив шест. Я возвращался. Куда, зачем? Я этого не знал. Знал только, что вот так, ни с чем на *«острове»* появиться не имею права. Не могу. Перед такими вот глазами, детскими, женскими. И еще – раненые. Больные голодом, голодной смертью все похожи: одинаковые глаза, выпирающий рот. Прошла бы, промелькнула первая надежда, оживленность встречи, и я бы увидел глаза, которые обманул своим появлением.

... Наш автобус совсем затих. Только женский (ровный, нескончаемый) сказ про поездку на юг да как испуганно весело удирали от карантина, да кто нибудь произносит название деревни или местности.

– Скоро будет Козловичский лес.

– А потом – Рудня.

– Да, Рудня.

И уже снова общий разговор растекается по автобусу, уже про Переходы.

– Надо было атаковать в деревне.

– Задним умом и я Наполеон!

– Я и тогда говорил.

– Что это? – Голос Сережи. – Это кладбище?

– Это – Рудня.

Автобус притормаживает. Шаркнуло стекло шоферской кабины, молодой голос:

– Смотрите, что тут! А издали деревня как деревня.

– Одни кресты и столбики, папка, – тихо говорит мне Сережа, – вместо домов. И березы.

– Тут всех уничтожили, – пояснили шоферу. – Как в

Хатыни.

– И никто никто не остался? – спросил Сережа почти шепотом. (Как бы самому себе сказал. *«Значит, и я не остался бы»*, – наверное, это он сказал.)

– И во сне не приснится! – громко, молодо промолвил шофер и задвинул стекло.

А мне и глаза закрывать не надо, чтобы приснилось, привиделось. Вижу и так. Болят они, мои глаза, с каждым годом сильнее, точно нестерпимый свет на них постоянно направлен. Не снаружи, изнутри свет – из памяти.

... Я ухожу, убегаю... Подумалось, что меня могут убить, а женщина скажет всем на *«острове»*, что видела меня и что я убежал. Убежал от раненых, от детей! И Глаша там... Все стоит передо мной, все представляю того дядьку. (От него самого слышал в отряде рассказ.) Тоже блокада была, а он жил тогда в гражданском, в семейном лагере. Разогнали каратели жителей по лесу, а он с трехлетней девочкой. От сырых грибов и ягод у девочки началась *«кровавка»*, отец (или дедушка) и решился. Поднялся с нею по лестнице *«ежу»*, которую нашел возле пустых ульев, сначала опустил ее ноги в широкое и глубокое дупло клена, потом всю затолкал. Девочка заплакала, когда перестала его видеть. А он попросил показать ручки – только грязные пальчики в дупле пошевелились. Он взял ее за руки, подтянул к дупляному окошку: *«Ну, вот, ну, видишь? Вот так достану тебя, когда вернусь. Чего тебе принести? Хлебца. Ну, вот, умница!»*

Слез на землю, спрятал *«ежа»*, послушал покорное молчание девочки. *«Ну, я пошел, я хутенько!»* – и побежал. Как я. Чтобы быстрее вернуться. И вдруг, как на стенку, налетел на мысль: *«Убьют меня, а она будет там сидеть и день и три, плакать, умирать от жажды, от голода!»* Бросился назад. От страха, от волнения заблудился. Стукался о деревья, как слепой,

плакал, звал. *«Выл, братки мои, как волк, пока не нашел то дерево!»*

Убьют, а женщина расскажет, что видела меня и как я убежал. Сбежал !

Деревня, к которой я наконец вышел, спит в прохладном тумане, ползающем по лугу, по огородам клочьями, как овечьи стада. После ночи, которую в голодном полубреду полусне провалялся под елью, что то странное бродит во мне. Вот ловлю себя на том, что бормочу, напеваю *«Сулико»*. Почему то именно эту мелодию. Какая то неестественная легкость, пустота внутри. И какая то беззаботная забывчивость. Я направился прямо к деревне и лишь потом спохватился: винтовка на плече! А кто там, в этой деревне, разве я знаю. Совсем целенькая деревня. Крыши, крыши над колыханием тумана, как днища перевернутых лодок. А надо всем, надо мной такое чистое и свежее небо. Справа за туманом темнеет высокая насыпь дороги. Не та ли самая гравийка здесь тянется, возле которой убили ленинградца и Скорохода? На полпути к деревне среди луга поднимается, вырастает из туманной мути, как из воды, несколько молодых берез. К ним я и направляюсь. Ноги путаются в побуревшем от дождей, неубранном сене. Возле берез я остановился, огляделся. Это одна береза, но трехствольная: три изогнутых застывших движения. Очень удобное сиденье для пастушков. О чем это я?.. Ногой сгреб сено и сунул под него винтовку. Не сразу вспомнил, что на мне еще ремень с подсумками и немецким штыком кинжалом. Я зло рассмеялся. Ну, ну, давай еще *«Сулико»*!.. Сунул под сено подсумки и штык и тогда сообразил, что китель на мне немецкий. Да и штаны немецкие. Но на штанах грязи столько, что сойдут за неизвестно какие. Спрятал китель под сено и остался в серой рубахе с белыми пуговицами, которую мама мне пошила. Гранату переложил в карман брюк. Ну, кажется, все, можно идти в деревню. Или еще что то не так? *«Долго я бродил и вздыхал...»* Ну ну, спой, дурачок!

Внезапный звук впереди насторожил меня. Я не отхожу

от винтовки, стараюсь отгадать, что означают эти стуки, повторяющиеся в низинке, налитой холодным туманом. (Оказывается, мне надо заново учиться ходить по земле, без винтовки.) Звуки деревенские: стук по дереву, бормотание, окрик на коня. Как от берега оттолкнувшись, я оторвался от места, где спрятал винтовку, и пошел в том направлении. Сначала коня разглядел, телегу. Из туманной гущи вынырнул запыхавшийся дядька, граблями гонит валок, копушку сена. Увидел меня и быстро, как и положено теперь, огляделся – один я или за мной еще кто? Дядька вспотел, заметно, что спешит, нервничает, точно ворует он это сено.

– Доброй раницы! Это какая деревня? – произнес я и поразился, как по другому звучит голос, когда ты без оружия.

– Переходы.

– А! – обрадовался я так, словно их как раз и искал. – Тихо у вас как!

– Где теперь тихо? Сидим вот, как на огне. Кто в лесу, кто где… Уже приезжали, никого не тронули, только коней похватали. И три семьи из Больших Борок застрелили. В лесу в куренях ховались, жили. Раз в лесу – *«бандиты»*!.. Застрелили. А сами вы откуда будете?

Я назвал далекую деревню.

– Спалили вас? – тотчас спросил дядька.

Странный этот дядька. Голубые глаза детски чистые, искренне пугливые, а заросший рот все время растягивается хитрящей усмешкой.

Я знаю, что означает его вопрос, не из сожженной ли я деревни. Если сожгли, выбили мою деревню, я для Переходов человек опасный. Уцелевших или спасшихся жителей таких деревень немцы ищут, преследуют, как прокаженных, и убивают, где бы ни встретили. Их приравнивают к партизанам, и потому опасно, если

такого человека застанут в Переходах. Я понимаю дядьку и спешу успокоить:

– Нет, у нас нормально.

Заросший рот не верит.

– Нас давно с самолетов сожгли, – поправляюсь я. – А тут у меня тетка живет.

– Кто это? – Дядька торопливо наваливает на телегу сено.

– Ганна… Переход Ганна…

Назвал наугад. Знаю, что бывают целые деревни однофамильцев. В Лосях – все Лоси, в Никитках – все Никитки…

– У нас тут вся улица на Переходах, – соглашается дядька и, поправив сено перед мордой жующей лошади, обратно убегает. Пятки у него черные, хотя и вымытые росой. *«Долго я бродил и вздыхал…»*

Я направляюсь к деревне. Переходы? У нас в отряде двое или даже больше с такой фамилией.

Солнце уже поднимается за лесом. Туман посветлел и порозовел. Не нравится мне эти гравийка справа, выползающая из тумана, с каждой минутой удлиняющаяся. Когда дядька сказал, что приезжали, он махнул граблями в ту сторону. Но туман густой, плотный, как лес, дотягивается до самых домов, крыши точно плывут по нему. Это успокаивает. Мешка у меня уже нет, придется попросить. Заодно уж. Как у нас нахальные курильщики просят: *«Одолжи огонька, а то у меня весь табачок вышел, а бумажки нету!»* Но кто я такой без винтовки, кто мне и что даст? Какой то попрошайка. Только теперь я об этом подумал. Но я готов и попрошайничать, без ничего я не могу вернуться на *«остров»*.

Какой то звук дернулся за лесом и пропал. Снова дернулся. И остался, ровный, далекий. *«Рама»*, что ли?

Давно не виделись!

Я все таки остановился, стал слушать. Нет, ничего. Далеко, во всяком случае. Роса такая, что хлюпает под ногами. Я присел и, собирая ее чистый холод ладонями, немного смыл с лица грязь. И будто еще что то смыл, стер: пропала, отвязалась наконец беззаботная и странная легкость, ощущение нереальности всего происходящего. Я поднялся и огляделся с таким чувством, точно случилось что то. Нет, все то же…

И тут увидел: дядька, тот самый босой дядька с граблями и в рубахе навыпуск, идет за мной следом. Он не идет, а то и дело срывается на бег. И все оглядывается. За ним стена розоватого тумана, но теперь она что то прячет. Я еще не испугался, но уже привычно прикидываю, куда бежать, где упасть.

Впереди мутно темнеет сарай без крыши, тонущий в тумане. Я быстро глянул в сторону гравийки. Нет, там по прежнему никого. И вдруг!.. Правее, там, где осталась трехствольная береза, где спрятал винтовку, туман затемнел, задвигался, в нем, из него стали вылепливаться плывущие фигуры людей, неправдоподобно крупные, с одинаково удлиненными головами. Они покачиваются и надвигаются, как из сна, из кошмара…

Я уже лежу на земле. Но тут же вскочил на ноги и быстро пошел к сараю – мы с дядькой идем в деревню, в свою деревню! Так попался, так глупо и необязательно! Мог бы сейчас быть в лесу, помедлить, обождать бы мне еще полчаса в лесу, но я здесь, и это конец, и это непоправимо! Я знаю, ощущаю всем своим существом, что спасения нет, не будет, но все равно жадно ищу ту единственную, последнюю возможность, случайность, которая еще может спасти. Я направляюсь к сараю, дядька идет за мной, мы оба оглядываемся. Каски, плечи, фигуры отделились, оторвались от розоватой стены тумана, теперь они черные, реальные, их много уже и в той стороне, где гравийка. Медленно, цепью движутся немцы к деревне.

Я ощупываю в кармане гранату: выбросить или оставить? Я всего лишь житель деревни Переходы, а с гранатой я партизан. В ней моя смерть, но смерть, которой я сам распоряжусь, а не та, которая встанет передо мной и спокойно, сколько ей захочется, будет меня рассматривать, прежде чем убить…

За сараем на высоком бугре какие то лодки, тонущие или полузатопленные, с задранной кормой. Что это? Или верно, что это сон, кошмарный, бредовый, и надо заставить себя проснуться? Это погреба, всего лишь сколоченные из досок тамбуры погребов землянок. Вот куда спрятаться! Бросился в один тамбур, а на двери замок, во второй – тоже. Потянул – замок легко раскрылся. Дверь предательски пискнула, пропуская меня в темноту, пахнущую ямой, гнилью. Достал гранату, но тут же спрятал ее в карман, стараясь не додумывать, что я хочу сделать. Граната – это конец. Где то есть, еще есть последний шанс! Успеть выскочить, пока они не подошли: сразу швырнут в погреб гранату. Бросился наверх так же торопливо, как минуту назад нырял в яму.

Дядька уже поравнялся со мной, глянул белыми глазами:

– Немцы! Ай ай ай, попались, во попались!..

И тут же мы увидели, как из тумана, где темнеет деревня, побежали люди навстречу нам. Вдали за деревней гулко и длинно простучал пулемет. Бегущие нам навстречу люди увидели немцев и с нашей стороны, заметались, стали падать, ползти, бросились назад к деревне.

Дядька, дико оглядываясь, побежал к погребу, как недавно я. А я прижался к стене сарая, чтобы успеть что то решить. Все кажется, что если на миг оторваться от немцев, хотя бы не видеть их, вернется положение, когда еще можно было что то изменить, когда этого еще не было. То, что у меня под рукой граната (я все держусь за карман), ускоряет, гонит происходящее к последней черте. Не выдержал, выглянул из за угла:

уже лица под касками различимы, руки на автоматах. По гравийке ползут машины. Время несется, как с кручи, навстречу немецкой цепи, забирая, унося весь воздух, стесняя дыхание, точно бежишь через силу.

В стене снизу дыра – выгнило бревно. Я упал на колени, заглянул внутрь. Услышал за собой чью то торопливость: это дядька перебегает к другому погребу. Я вполз в сарай. Над головой длинный прямоугольник синего, без единого облачка неба. У самой стены несколько жердей, остаток потолка. В дальнем углу куча сгнившей, черной соломы.

Точно звук включился, когда стены закрыли от меня происходящее, громче стали крики, собачий лай. Достал гранату, гляжу, как бы ожидая, куда меня поведет. На жерди надо, наверх! Это хоть на миг все отдаляет...

В распахнутые ворота сарая вбежал человек – снова дядька! Дико глянул на меня, на гранату. Глаза его шарят по стенам, по углам. Бросился к жалкой кучке соломы и стал что то нелепое делать, сгребать и сыпать на себя пыльную, точно задымившуюся в солнечных лучах труху, вжимаясь в землю, в стену.

Я полез на жерди. В стене широкие, можно руку просунуть, щели. Снова увидел приблизившуюся цепь карателей, разглядел и несколько рвущихся, натягивающих поводки овчарок. Быстренько лег на жерди, чтобы не заметили меня. И тут услышал, как жутко, пойманно воет деревня. Голоса разговаривающих немцев, даже резкие команды – неправдоподобно будничные, реальные. Я даже чей то смех расслышал в немецкой стороне.

Непослушными пальцами вывинтил голубую головку гранатыматрешки. Глазам открылся белый витой шнурок. На конце его – взрыв. Ладоням больно, так сжимают они головку и холодное тельце гранаты.

Немцы уже совсем рядом, я вижу в щель, как двое (один с рогулей пулеметом) выбежали из цепи и, бухая в

землю сапогами, устремились к сараю. Нет, к погребам. Руки мои будто наручниками схвачены – белый шелковый шнурок вытянулся сантиметра на четыре из тела гранаты. Вот оно, нерадостное, вынужденное право человека умереть, освободиться хотя бы в саму смерть! Она держит меня, как наручники, но и она у меня в руках. Это единственное, что делает меня, пойманного, беспомощного перед надвигающимся, сильнее самого себя.

Отгороженный от происходящего безмерно тоскливым чувством близкой смерти, как сквозь стеклянную стенку, смотрю я на бегущих к погребам и сараю черных и зеленых карателей, на всю цепь, далеко охватывающую деревню. Ухнул взрыв совсем рядом – гранату в погреб бросили. Сейчас кто то услышит такой же взрыв, мою гранату…

Я вижу, как женщины на огородах перебегают с места на место, падают и снова вскакивают, ползут, тащат детей. А цепь карателей медленно и неумолимо приближается к огородам, к деревне. Вот женщина в яркой, зачем то розовой кофте подбежала к баньке и, оглядываясь во все стороны, подзывает малых. Двое, нет, трое бегут к ней, падая и поднимая друг дружку. Женщина заталкивает их под навес из потемневшей картофельной ботвы. Спрятала и сама отбежала, упала возле забора, но снова подняла голову и, наверное, что то говорит детям. Сверху я хорошо вижу яркую, розовую ее кофту.

Все стоит над деревней воющий звук, но не видно, от кого он исходит, кажется, что люди все делают в мертвой немоте. А звук висит надо всем, надо всеми…

По прямой деревенской улице медленно, даже торжественно, как в церковь, идет старик в полотняных, издали совсем белых штанах и рубахе. Все вокруг мечется, а он идет, как будто можно еще куда то идти.

Но вот все исчезло, остались совсем уже близкие шаги, трущиеся о стену сарая голоса. Сюда идут! Они идут сюда!

– Пан, а пан, – голос поднялся, старательный, забегающий наперед, – надо в погребах смотреть. Сюда бежали.

– А тебе что, что бежали? – другой голос, угрюмый. – Прикажут, коли надо, не бойся.

– Я не боюсь, а ты всегда сильно умный.

Сейчас войдут. Ничего нет на земле страшнее: в дверь, в ворота входят люди! И сейчас это произойдет, я прижимаюсь к жердям, смотрю на свои связанные белым шнурком руки и чувствую, какое раздавшееся, какое заметное отовсюду мое тело… Войдут, заметят его и сразу ударят из автоматов. И я не успею… Я не додумываю, что же я не успею… Может быть, это страх, что не успею умереть. От своей гранаты. Человек, оказывается, если и способен настроиться на какую то смерть, то лишь на одну, на определенную. Чуть что изменилось – и все рассыпается… (Помню, женщина в вагоне рассказывала: когда фашисты убивали деревню и подошли к сараю, где пряталась ее семья, люди готовы были сгореть в сене, только бы не выходить к убийцам, где их застрелят. Держались в дыму, в жару, только бы не умереть под пулями. Наконец не выдержала и вырвалась сквозь дым одна лишь эта женщина, а муж и сестры ее сгорели, их удержал страх перед другой смертью, пусть даже менее мучительной.)

Сейчас ударят снизу, и я не успею дернуть шнурок, граната не успеет разорваться, пока я еще буду живой…

– Эге, тут есть!..

Голос веселый, забавляющийся, все путающий, и это удержало мои руки, дало мне время вспомнить, сообразить, что я ведь не один в сарае прячусь. Не поднимая головы, посмотрел; смотрю, как двое в черных полицейских мундирах направляются в угол сарая. Дядька вскочил на ноги, обсыпанный трухой, солнечный столб пыли, как дым, забелел, встал над ним.

– Прятался бы как надо. Эх, дя дя! – веселый голос полицейского. (Наверное, этот кричал немцу про погреба.)

– Не пойду! – крикнул человек.

– Ну, ну… Аусвайсы проверят – и *«нахауз, матка»*. Собрание…

– Не пойду! Знаем, какое собрание.

– Ах ты, бандитская морда! – веселый уже сердится.

– Тут забивай, не пойду!

– Не хочешь по человечески?..

Удары, кряхтенье. Возятся только двое. Угрюмый полицай спокойно наблюдает, точно его это не касается. Дядька вылетел на середину сарая, но снова, как притянутый, метнулся, прилип к стенке, запустил пальцы и ладони в щели меж бревен.

– Забивай, не пойду в огонь!

– Какой огонь! Ба андит! А ты что стоишь, смотришь?

– Не дури, дед,– ленивый голос второго полицая,– проверят, и все.

– Сам иди в огонь!

Удары прикладом по бревну и по живому одновременно. Крик почти детский… Наверное, я пошевелился, потому что угрюмый полицай тут же удивился:

– Эге, еще один! А ну слезай, вниз скачи!

Направил на меня винтовку. Я пошевелился, приподнял зад, тело мое показало, что я ничего, что я подчиняюсь, а сам я смотрю на гранату, на белый шнурок в ее отверстии. Ощутил слабое, зовущее сопротивление смерти на спрятанном в гранате конце натянутого шнурка. Теперь я бесконечный, без выдоха вздох. Больно распирает грудь, а вздох все длится, я все

длюсь, делаюсь огромнее и тоньше, невесомее, как шар… Вдруг случилось что то внизу: двое – дядька, а за ним веселый полицейский – вылетели за дверь.

– Ну, долго буду? – спрашивает оставшийся полицай. Я поднялся, встал на колени, держу руку с гранатой на жердях и передвигаюсь к стенке, всем своим видом показывая, что буду спускаться. За стенкой снова гахнул взрыв.

– Гранату в погреб швырнули, – сообщил я полицаю.

– Долго буду ждать?

Я уже не тот, кто минуту назад собирался подорвать себя одного. Что то изменилось, и появился в мире хитрящий, согласно и глупо улыбающийся… Он ползет, держа и пряча гранату, а я наблюдаю и за ним и за полицаем, дожидаясь, что же сделаю я… Тот я, что дожидается, наблюдает, поразительно спокоен. Будто и не со мной все это.

– Скачи сюда, ну! – Полицай почувствовал неладное, голос его тревожно дернулся. Я поспешно приподнялся, покорно повернувшись спиной к его винтовке, и, не глядя, как из себя, потянул шнурок – сорвал оглушительный щелчок в круглом тельце гранаты. *«У покойника зубы не болят!»* Кто то другой и, показалось, вслух отсчитывал зачем то секунды фразой моего друга Федьки, и он же, этот хитрящий, злой, ловкий, не досчитав, неожиданно для меня самого, метнулся за стенку, как за борт, оставив в сарае падающую на полицая гранату…

Больно ударился о землю, о взрыв, о темноту. Стена сарая дохнула на меня дымной вонью – в закрытые от боли глаза, в нос. Вскочил с выбитым или сломанным плечом, чтобы бежать куда угодно, на кого угодно, только подальше от того, что я сделал.

– Хальт! Комм гер!

Боль в плече опала, не застит глаза. Немец стоит возле

погреба, направив на меня автомат. Я иду к нему, даже спешу, только бы подальше от сарая. Два немца полулежат возле пулемета, поднятого на высокие ноги распорки.

А еще двое стоят над какой то старухой. Она лежит лицом в землю, ожидая худыми острыми лопатками выстрела, а немцы стоят над ней, закуривают. Смешно им, что они всего лишь курят, улыбаются, а человек уже умирать приготовился!

– Нах хауз, матка, – трогает ее автоматом немец в толстых улыбающихся очках.

Я с облегчением отмечаю, что взрыв мой никого не обеспокоил. Сейчас еще один немец бросит гранату в погреб. Швырнул и припал к песчаной крыше накату. *«Мой»* немец, опустив автомат, дождался нового взрыва и уже потом направился туда, где лежит старуха. Показал, чтобы и я подходил к тому месту.

И сразу не стало здесь партизана, бросившего гранату, убившего полицейского, – к немцам идет давно не стриженный деревенский парень в грязных сапогах и в серой навыпуск рубахе. Вот только брюки из итальянского, да, да, из какого то желтоватого, не немецкого сукна, просто из одеяла: разведчики, ясное дело, надули меня, брюки из одеяла и ничего нет в них немецкого, солдатского!

– Мутер? – Немец показывает на старуху. Худой деревенский парень большерото, слабовольно улыбается (впервые я люблю эту свою дурацкую улыбку) и трогает старуху за плечо.

– Идемте, не бойтесь.

Старуха быстро поднялась на колени, смотрит невидяще, губы ее быстро быстро шевелятся.

– Вэк, нах хауз! – немец в улыбающихся очках показывает в сторону деревни. Я помогаю женщине встать, и мы спешим уйти, уходим с нею к огородам.

Первая цепь карателей уже впереди нас, движение ее замедлилось возле сараев. Вторая цепь, пореже, погоняет нас. Из этой к нам устремляются немец и полицай. Полицай явно городской, наряжен в черный мундир с широкими серыми обшлагами и таким же воротником. Оба, и немец и полицай, самодовольно молодые и очень похожи физиономиями, хотя немецкая голова накрыта стальным колпаком каски, а полицейская – черной пилоткой.

Они подталкивают меня и старуху и попеременно объясняют, кто мы, почему нас надо гнать.

– Шнель, шнель, рус!

– Давай, давай! Сталинские бандиты!

Молодой немец идет так, чтобы полицай тоже был у него перед глазами.

– Швайн!..

– Бандиты!..

Это не простые ругательства. В этих ругательных кличках все их убеждения, их объяснение того, что совершается и в чем они участвуют. Оружие поскорострельнее, идеи покороче – одно догоняет другое!..

– Швайн… шнель… сталинские… рус… бандиты… шнель… давай… шнель! Шнель! Давай! Давай!..

Странно, что все время, пока меня гнали, пока шел к деревне, я помнил сарай и флегматичного полицая, на которого сбросил сверху гранату. Сначала висело надо мной опасение, что они обнаружат это. Потом на смену другое чувство всплыло, мне уже знакомое. Мы как то обстреляли из редкого соснячка возле самого города немецких велосипедистов. Еще солнечно вертелось колесо над телом сшибленного мною солдата, а мы уже поднялись, чтобы убегать. Неожиданно появились немцы на машинах. Нас оглушали, преследовали близкие разрывные пули, немцы уже обходили нас, а

под ногами сухой, сыпучий, как мука, песок: не бежишь, а обессиленно буксуешь на месте! И, главное, стало вдруг все равно, тупое безразличие к самому себе. То, что я недавно убил, играло в этом какую то роль, упрощало все, и мою смерть тоже…

Первая цепь карателей уже на огородах. Вдруг заспешили они, закричали, немецкие команды, полицейские окрики, собачий вой, женские и детские вскрики и плач, как пламя, взметнулись над деревней. Каратели заглядывают в каждую дверь, в каждую яму, щель, разваливают бабки жита, которыми заставлены огороды. И тут я снова увидел женщину в розовой кофте, про которую уже забыл. Она поднялась на колени возле забора, сама показалась, когда немец подошел к баньке и начал шарить стволом винтовки под развешанным *«картофляником»*. Немец увидел поднявшуюся с земли женщину и направился к ней. Но второй каратель (этот не в каске и не в пилотке, на голове у него зеленая кепка с очень длинным козырьком) уверенно подошел к баньке и сбросил на землю жердь с картофельной ботвой. Дети, двое постарше, стоят на коленках, прижимаясь лицами к стене и закрыв глаза руками, а мальчик лет трех удивленно и непонимающе, как после сна, смотрит на человека в странной кепке.

Женщина нечеловечески закричала и поползла, а потом побежала к баньке.

– Швайн! – толкнул меня автоматом молодой немец.

– Бандиты! – спохватившись, пояснил (себе и мне) полицай и тоже меня толкнул.

Крик, человеческий плач и вой, вспыхнув в какой то миг, катились по деревне, как пожар, и уже не прекращались весь день, до самого, до того последнего мгновения…

Нас вытолкали на деревенскую улицу – меня со старухой и женщину в розовой кофте, у которой не хватало рук, чтобы собирать, прижимать к себе малых.

Так же, как в какой то миг вспыхнули и уже не прекращались плач и крик, так с этого момента начался тот сумасшедший гон, бег. Нас вытолкали на улицу, по которой уже гнали людей, уже метались люди, и все новых и новых женщин с детьми, мужчин выдергивали из хат, со дворов, выталкивали из калиток, вышвыривали на улицу и гнали, гнали вперед, куда то в конец деревни. С криком, хрипом, ударами прикладов, палок, с оскаливанием и бросанием овчарок куда то проталкивали разбухающую толпу. Сначала процессия продвигалась медленно, лишь внутри ее было непрерывное, как крик и плач, движение, метание, перебегание с места на место, испуганное шараханье от собак, которых каратели раз за разом бросали с поводками на толпу, кусая ее. Но все резче команды, окрики, удары, броски, вой и человеческий плач, все быстрее катится увеличивающаяся толпа к чему то последнему, что поджидает в конце улицы. И чем быстрее, безумнее бег, тем ожесточеннее делаются каратели, тем чаще толкают, бьют, орут, рычат.

И все обиженнее становятся красные потные морды палачей. Просто страдание на их физиономиях, мука, обида. Ведь мы такие бестолковые и недисциплинированные, никак не хотим понять, чего они от нас добиваются, такие мы кричащие, сопротивляющиеся, не желающие верить в аусвайсы, в проверку документов, в обычность и необходимость происходящего.

Особенно к детям тянутся каратели с палками и овчарками. А когда мальчик лет десяти из под руки матери бросился в жито, немец аж застонал от обиды и пустил овчарку. Женщина кинулась за ними, а на нее налетел другой. О, как гневен он был, как был обижен за непорядок, какая у него была страдальческая харя!

Я еще раз увидел белого старика, которого заметил прежде из сарая. Он уже успел пройти всю деревню и теперь стоял, точно дожидался нас, у чего то черного, прикрепленного к стенке большого колхозного амбара. Возле этой большой, черной, не здешней, не

деревенской тряпки – какого то зловещего знака для карателей – собрали людей, которых пригнали раньше. (Только потом, припоминая все, я понял, почему так стоял возле черного полотнища, так держал голову белый старик, – он был слепой.)

В стороне от сарая толпятся немцы в офицерских фуражках, стоят машины, мотоциклы. И два станковых пулемета, нацеленные на амбар.

У распахнутых ворот нас поджидает коридор из овчарок и карателей. Спокойно, деловито стоят две шеренги людей с овчарками, словно то, что они делают, самое простое, понятное в жизни занятие. Все это (так же, как и красную противопожарную доску на стене амбара) я разглядел потом, много дней спустя, когда снова и снова перебирал все в воспаленной памяти.

А в тот момент было лишь ощущение, что нас, что меня сталкивают со смертельной кручи и я цепляюсь руками, ногами, животом, не даваясь и не желая верить, что это конец, но в то же время до ужаса ясно сознавая, что это неотвратимо совершится. Мог, мог же я вот в это самое время быть совсем не здесь! Но неужели есть еще что то другое на земле, если здесь вот это?..

Живая, извивающаяся кишка из карателей и овчарок стала заглатывать толпу и проталкивать к черной дыре распахнутых ворот порциями по пять, по десять человек. Кто то неразличимый среди карателей, толкающих, бьющих нас в спину, по головам, выкрикивает:

– Приготовьте документы, паспорта, метрики, школьные справки, приготовьте документы!..

Но никто никаких документов не смотрит, не спрашивает, наверное, план, сценарий страшного спектакля изменен на ходу чьим то распоряжением и выкрикивающий исполняет уже необязательную, лишнюю роль.

– Приготовьте справки!..

Подвижная, расширяющаяся, сжимающая нас кишка из эсэсовцев и собак заглатывает все новые и новые партии людей, отрывая их от окруженной, сдавленной со всех сторон толпы, проталкивает к зияющему чреву амбара. Лица у тех, морды у тех, кто нас толкает, швыряет, бьет, кусает, – разъяренные, злобно слепые и обязательно обиженные. Мы так плохо, так тупо ведем себя, не желаем понять, чего от нас хотят, требуют, мы оглушаем их таким женским криком, таким детским плачем и воем, так нелегко с нами, а надо всего лишь войти в амбар и надо приготовить паспорта и метрики!..

Двое карателей слишком отпустили собачьи поводки на высокого молодого мужчину, который двумя руками уперся в косяк и не впускает людей в ворота. Овчарки сначала рвали его, но, дотянувшись, неожиданно вцепились в глотку друг дружке.

Упирающегося мужчину уже пристрелили и оттащили к стенке амбара и еще плотнее сдавили толпу, но эсэсовскую кишку в этом месте перекрутило, карателям все не удается разорвать собак. Замкнув клыки на глотке друг дружки, они сладко замерли, раскорячив сильные ноги. Их толкут, бьют сапогами, растаскивают. А другие каратели волокут, швыряют к воротам нас…

Некрасив человек, когда его убивают! Это всегда прочитывается на обиженных лицах палачей. Как я помню и эти физиономии и мстительное чувство убиваемого: так вот вам, хари, вот вам! Я увертываюсь, кусаюсь, отвратительно визжу, я готов хориную вонь пустить в эти морды, на которых трепещет палаческая обида.

Поразила меня однажды фотография в Белградском партизанском музее. Наверное, и сейчас она там. К ней издали начинаешь идти, едва взглянул – как на свет. Удивительная красота человеческой улыбки! Но подходишь и вдруг видишь, что на шее у счастливо улыбающегося юноши петля! А сзади, за спиной у него, стоит фашист, изготовившийся выбить из под ног казнимого опору. Кому он улыбается, этот юноша с белым отложным воротником вокруг чистой тонкой

шеи, с таким открытым студенческим лицом? Кому такая улыбка? Назло палачам? Но ни тени вызова, презрения, никакого напряжения! Будто невеста перед глазами у него, а не его убийцы. Не будь за спиной у юноши той деловитой фигуры в мундире, можно было бы решить, что просто на самодеятельной сцене забавляются студенты, изображают казнь по молодому неумно и весело, как что то невозможное, и *«казнимый»* видит вокруг себя улыбающиеся лица друзей. А не хари убийц…

Кому же эта человеческая улыбка? Последним людям, которых он видит? Ведь других уже не будет, лучше, желаннее. Никогда. Это все таки последние. Нет, нет!.. Я не мог с этим согласиться. И не мог отойти от улыбающегося партизана. И наконец понял. Человек заметил глаз фотоаппарата и сквозь него посмотрел за спины убийцам – на друзей, может быть, на невесту. Он видит людей, которых оставляет жить вместо себя! Палачи сами предоставили ему эту возможность…

Мы же видели только палачей, только их, кто хотел нас загнать в амбар, чтобы удобнее было сделать из нас общий факел, побыстрее превратить в безопасные для них трупы, спокойные, дисциплинированные. И я метался вместе со всеми вдоль стенки из морд овчарок и палачей, злой, беспомощный, кусачий, грязный, готовый вонью залепить их обиженные и яростные пасти и глаза!

Как то, когда уже студентом был, увидел в книге группу людей, связанных, опутанных змеями, – Лаокоон. (Память моя все уходит от амбара, даже память долго не может там пробыть!..) Толстые жгуты змей на человеческих руках, ногах, напрягшихся в холодном ужасе, запрокинутые лица, головы… Стол, за которым я сидел, наклонился, окна перекосились, я едва донес тошноту до помойного ведра. Сокурсникам моим смешно было, что у Гайшуна такая реакция на искусство. А я просто увидел то, что уже видел один раз, но только не на репродукции. Было это в самом начале моей партизанщины. Немцы и власовцы

поймали нашего разведчика, а мы потом ходили забирать его брошенное на кладбище тело. Партизан долго отстреливался от немцев из за камней и оградок, но его все таки захватили живьем… Руки, шея человека были обмотаны синими страшными жгутами из его же внутренностей. И в мертвом видно было, как человек сам рвал их в слепом ужасе и боли…

Толпа, стиснутая, связанная, обмотанная шеренгами змеями солдат с овчарками, извивалась в ужасе, отчаянье, гневе, а в стороне застыли неправдоподобно спокойные фигуры офицеров в высоких фуражках. Я их заметил, а потом увидел снова уже из окошка амбара. У этого невозможного, холодного, пристального спокойствия был свой центр, и это был он, мой главный враг.

Но его я разглядел, выделил позже.

Когда людей все таки позатолкали, позашвыривали в амбар и нас поглотила воющая темнота, я оказался у самой двери, ее закрыли и теперь заколачивали глухими кладбищенскими ударами. И я снова с упрямством безумного стал искать, в чем еще может быть спасение, последний шанс. Это было во мне привычно партизанское. Но я был частью и того, что кричало, рвалось, металось под крышей амбара, исчерченной, иссеченной узкими полосами солнечного света. (Значит, в тот день и даже в те часы, минуты ярко и широко светило солнце!..)

Солнечные полосы, столбы света, падающего сверху, дымятся пылью. И уже детские крики во всех концах амбара:

– Мамочка, дым!

– Ой, запалили!

– Мамка, это будет больно, мамка, это больно?..

В этой страшной толпе мне уже видятся умоляющие глаза, личики моих сестренок близнецов. Все лица, все

глаза детские тут такие одинаковые. И я уже ищу и боюсь узнать маму (мне начинает представляться, что это происходит в том сарае, где их жгли). Она увидит, что и я здесь, что сын ее тоже здесь…

Больше всего наружного света возле двери – из двух узких, высоко прорезанных дыр окошек. Они притягивают к себе, тут особенно тесно. Какой то мужчина не выдержал, подтянулся на руках, выглянул. И сразу резко оттолкнуло его голову – человек упал на нас. (Крик стоит такой, что автоматной очереди мы не услышали.) Солнечные полосы на лицах, на плечах людей сразу окрасились кровью. Липким и теплым брызнуло и мне на лоб. Но нельзя руку поднять, чтобы вытереть, так стиснуты мы.

И тут увидели, как мокро зачернели пазы меж бревен и доски ворот, резко запахло бензином.

Многорукий, многоголовый, многоголосый Лаокоон с огромными женскими, детскими глазами ворочался, рвался в полутьме, и частью этого был я.

А где то есть поле, тишина, звенящая кузнечиками, полевая дорога, спокойно идущий куда то человек…

Внезапно узкое окошко над нами заслонилось снаружи. Нас рассматривают чьи то глаза из под длинного козырька. Точно кого то ищут. Сделалось тише. Только детский плач остался, как ручейки от схлынувшего прибоя.

– Без детей – выходи, – прозвучал голос с акцентом. – Можно. Кто без детей. Сюда вот, в окно. Детей нужно оставить.

Сделалось совсем тихо, но в этой тишине сдвигался с места мир, как, наверное, незаметно сдвигалась, наклонялась ось планеты перед оледенением. Женщины первые осознали, поняли смысл сказанного. Такого человеческого стона я не слышал за весь тот страшный день. Нет, такой тишины. Люди замолчали, как бы поняв все до конца. До этой черты, минуты еще

их что то связывало: людей в заколоченном амбаре и тех, кто был за стенами. Людей и людей. А теперь не к кому было взывать. Вот уже скоро четверть века не затихает тот немой человеческий стон и над всем – недоумевающий, невыносимо ровный голос:

– Сынок, сынок мой, зачем ты в эту резину обулся? Твои ж ножки очень долго будут гореть. В резине.

И только тут я понял, что они делали, люди, торопливо, в немом крике: они раздевались, раздевали детей, срывали одежду, словно она уже тлела на них...

А кто то уже подтянулся к освободившемуся окошку, выглянул. Его подсаживают, ему помогают. Человек отстраняет лицо, голову от света, как от невыносимого жара, – ждет автоматной очереди. Не выдержал, засучил ногами, сполз вниз. Тогда я показал, что хочу подтянуться, и меня с готовностью подняли чьи то руки, плечи. Сначала я увидел машины и тех, кто дальше от сарая, – офицеров. Перед сараем полукольцо солдат в надвинутых на глаза касках, с автоматами на изготовку. Меня поднимают, уже не лицо мое, а колени, ноги на уровне окошка. Я просунул в дыру одну ногу, оседлал стену, подогнул голову, протиснул плечо. Увидел под собой зелень травы и солому вдоль стены. Почти вытолкнутый, свалился наземь и снова ощутил выбитое плечо. Меня схватили и отшвырнули от сарая так же зло и резко, как перед этим зашвыривали в дверь. Толкнули еще и еще раз, и я оказался возле самых машин.

И тут я вблизи увидел его, главного своего врага. Лысый, выбритый до глянца (он один среди офицеров с непокрытой головой), в золотых очках, наблюдающий все как бы со стороны, он похож на врача или чиновника, наряженного в военное.

Возможно, я потому сразу стал глядеть на него, что на его плече вертится, занося длинным, как у крысы, и толстым хвостом, гримасничает обезьянка с круглыми белыми пятнами вокруг глаз. Он ее ласково достает, поглаживает рукой. Глаза наши встретились: мои, его,

обезьянки. Он рассматривает меня с любопытством (так мне показалось), у обезьянки взгляд бессмысленно печальный.

Возле меня оказался тот самый молодой полицай, который гнал меня к деревне. Но я узнал его не сразу – такое у него стертое, бледное, не прежнее лицо. Кажется, тут кончилось наркотическое действие коротеньких идеек насчет *«сталинских бандитов»*. Такое, наверно, впервые видит, участвует в таком.

А в дыры окошек уже протискиваются: в одной мужчина застрял, завис, дергает ногой, не может просунуть плечо и голову; во второй дыре то появляется, то исчезает искаженное женское лицо. Потом детская головка показалась, и снова спрашивающее, не решающееся, искаженное мукой лицо женщины. Оно страшно, немо кричит. Но вот в дыре девушка, почти девочка, тоненькие ее руки, ноги вместе с головой просунулись наружу, оголенно и беззащитно крикнули. Она свалилась в солому. Но тотчас вскочила, чтобы принять ребенка, которого проталкивают, подают ей сразу четыре или больше рук. И сразу, будто произошло что то невыносимое для них всех: протестующе вздрогнули офицерские фуражки, возмущенно колыхнулась вся шеренга солдат и овчарок. Двое или трое с автоматами бросились к девочке и стали отрывать ее от ребенка и ребенка от нее. Амбар страшно, к самому небу кричит. Только теперь меня забила дрожь, крупная, холодная. Так же дрожит и молодой полицай, который меня гнал к деревне. Но там, где стоит мой самый главный враг, снова неподвижность или плавные жесты, неторопливость которых подчеркивается бешеным метанием белоглазой обезьянки, перепрыгивающей с плеча на плечо, выглядывающей то из за фуражки, то из за бритой головы. Девочку и ребенка разорвали на два кричащих тела и одно, меньшее, уже совсем раздетое, голенькое, стали запихивать в дыру. Девочку отшвырнули к машинам, она добежала до колодца, возле которого караулят меня. Никто никогда не видел таких древних женских глаз, как у этой девочки, когда

она бежала к нам, словно за помощью. Добежала, упала лицом на землю и не стала подниматься.

А тот, с обезьянкой, теперь девочку, как недавно меня, проводил любопытным взглядом, кажется, ему все было понятно. И тем, что окружали его, было все понятно. Непонимающее, человеческое выражение было на бело черной волосатой мордочке обезьяны с вытаращенными печальными глазами.

Тех, кто выбрасывался из окошек, гнали к машинам, к колодцу, нас становилось все больше, и чем меньше людей оставалось в амбаре, тем нестерпимее, громче были их крики, вой.

Вывалился мальчик, поднялся, испуганный, к нему рванулись люди в касках, схватили. Распято держат за обе руки и смотрят на лысого офицера с обезьянкой. Он помедлил, но махнул в сторону колодца: позволил признать не ребенком. Уже старуха протискивается в дыру, долго, неловко, ужас и недоумение на черном от морщин лице.

Что то происходит, понятное людям в фуражках, людям в касках и особенно бритоголовому. Он спокойно, изучающе смотрит на происходящее, но сам больше занят обезьянкой, ждет, когда с чужого плеча вернется к нему, поглаживает ее, подергивает за хвост.

Снова выбросили в дыру мальчика. На этот раз бритоголовый поморщился, как от неприятности, сделанной лично ему. И сразу возмущенно взвыли люди с овчарками, к ним побежал офицер. Мальчик вырывался из ловящих его солдатских рук, а его не несли, а перебрасывали назад к окошку дыре, роняя на землю, но не выпуская. Женщина, наверное, его мать, торопится выбраться наружу, она проталкивается в дыру, а сама смотрит на мальчика: где он, что с ним? Но его уже подтащили к другому окошку и запихивают назад в амбар. Женщина хочет тоже назад, в амбар, но ее выталкивают оттуда помогающие ей руки. Свалилась наземь, а мальчик уже исчез в черной дыре. Женщина вскочила на ноги, подбежала к ней, темная, огромная

от ужаса и муки, ее схватили и поволокли, выстрелили. И швырнули к стенке на солому.

Бритоголовый с гримасой неудовольствия и брезгливости направился к открытой легковой машине. Теперь я видел его старчески сутулую спину, по которой метался, носился, как маятник, толстый длинный хвост…

Это был знак – кончать. Молоденький офицер побежал к амбару, немцы, лежавшие за пулеметом, изготовились, шеренга карателей отступила от стен амбара. Взметнулось от соломы по стене – как крикнуло! – пламя. Оно ударило по глазам, как тогда на *«острове»*. Но я все смотрел, как из окошек выбрасывают детей и они падают прямо в горящую солому…

Иосиф Иосифович Каминский (д. Хатынь, Логойского района, Минской области):

– И меня погнали в тот сарай. Дочка, и сын, и жонка уже там. И людей столько. И я говорю дочке: *«Почему вы не оделись?» «Так сорвали с нас одежду, – говорит она. – С меня и доху с плеч сорвали, раздели нас…»* Ну, пригонют в сарай и закроют, пригонют и закроют. Сколько людей нагнали, что и не продохнуть уже, руки не поднимешь. Люди кричат, дети эти. Известное дело, столько душ, и страх такой. Сено там лежало, солома, кормили еще, держали коров. Сверху и подпалили. Запалили сверху, горит крыша, огонь на людей падает, сено, солома загорелись, душатся, задыхаются люди, так сжали, что и дышать уже нет возможности.. Нет как. Я сыну говорю: *«Упирайся в стену ногами и руками, упирайся!..»* А тут двери раскрылись. Раскрылись двери, а люди не выходят, не выбегают. Что такое? А это стреляют там в дверях, стреляют, говорят. А крик такой, что стрельбы той, что стуку того и не слышно. Известное дело, горят люди, огонь на головы да дети – такой крик, что… Я сыну говорю: *«По головам как нибудь, по головам выбирайтесь!»* Подсадил его. А

сам понизу, меж ног. А на меня убитые и навалились. Навалились на меня убитые, продохнуть нельзя. Двигаю плечами – тогда я здоровше был, – стал ползти. То олько к порогу, а крыша и обвалилась, упала, огонь на всех!.. Я еще выполз, а ко мне подбегает немец и ка ак прикладом – зубы мои и убежали. И сын тоже успел выбежать, ему только голову чуть чуть обсмалило, волосы обгорели. Отбежал метров пять – его и положили из пулемета… Положили… А сосед наш, он тоже выбежал из огня и на меня упал, сел, горит, как пень, красный, и кровь на меня из него льется… *«Спаси, – кричит, – спаси меня!..»* Потом поехали немцы. Я сына стал тащить, потянул, а уже и кишки за ним… Только спросил еще, жива ли мама, сестра… Не дай бог никому, кто на земле живет. Чтобы не видели и не слышали горя такого!..

Авдотья Ивановна Грицевич (д. Копацевичи, Солигорского района, Минской области):

– Спряталась на чердаке за лежаком под кучей лыка. А лестница скрип скрип – поднимаются. Слышу, – он уже тут, рядом, дыхательный кто то. Шаги – идет к лежаку. Открыла я глаза, а он на меня смотрит, смотрим один на одного. А там уже другой поднимается. Так он взял венок лыка и положил мне на лицо, закрыл…

Яков Сергеевич Стрынатко (д. Шалаевка, Кировского района, Могилевской области):

– В сорок втором летом это было, о партизанах еще мало у нас слыхать было. Тут, в Борках, полиция была. И вдруг немцы окружили Борки. Кого в поле встретят, в кустах, не забивают, а гонят перед собой в деревню,. А я как раз ехал в Борки, ячменя обещали продать. Из Шалаевки сам, это пять километров. Черт меня погнал как раз под это! Хотел завернуть назад, не разрешили. Не били, что правда, то правда, только показали, чтобы ехал в Борки. Тогда я быстрее погнал коня, завернул во двор, знакомые у меня там жили. Они тоже видят, что немцы со всех сторон идут, а почему, что – не знают.

Дед ругает хлопцев борковских, что по ночам к девкам бегают в другие деревни: *«Вечаринки яшчэ гэтыя, девки на уме, а немцы подумали, что к партизанам бегают!»* Мы с хозяином во двор вышли, дрова стали пилить: не так на душе, когда что то делаешь. Хозяйка не выдержала, хотела к соседям, а немцы не пустили: *«Нахауз, матка»*. Никого на улице не трогали, не убивали, что правда, то правда. Только домой, нахауз, всех отправляют. Дочку ихнюю с подругой, которые не выдержали, пошли по улице, в чужой дом загнали. Сидим мы в хате, смотрим в окна. Хозяин говорит жене: *«Давай мы с человеком позавтракаем, да ну их!» «Уедут, тогда и выпьете»*, – говорит жена. А тут скоро и застучали на дворе. Заходит с автоматом, за ним еще – и сразу отшвырнул хозяйку от порога и пересек ее из автомата, сразу. А я как отскочил сначала от стола, сел на кровать, так и сижу, только темно в очах сделалось и загудело. Хозяин из за стола поднялся, они и его! Успел я еще увидеть, как из боковушки старика выталкивали. Тут уже по мне резанули, я отвалился на кровать. Когда очнулся, дед уже лежит мертвый у самого порога…

Анна Никитична Синица (д. Борки, Кировского района, Могилевской области):

– Зашли в хату и, не говоря ничего, выстрелили в маму. Перед этим мы слышали: *«пак пак пак!»* – стреляют у соседей. Мама тогда сказала: *«Курей стреляют»*. Даже не подумали, а на улицу боялись выйти. Кто выйдет, они просили: *«Матка, нахауз»*. В маму как выстрелили, она еще вбежала в нашу комнату: *«Детки!»* Я сразу ни печь взлетела, и девки за мной. Я у стенки была, потому и осталась. Один на кровать встал, чтобы выше, и стрелял из винтовки. Раз – зарядит, и снова – бах! Сестренка была с краю, и на мне еще лежали подруги, соседки наши, я слышала, как убили их. А кровь на меня льется. *«Ой! Мамочка!»* – а на меня кровь. Потом я слышала, как говорили, смеялись. Патефон был, так они завели, наши пластинки слушают. *«Полюшко поле…»* Поиграли и пошли. Я сползла с печи, печь красная красная, мама

на полу, а в окне горит деревня, и мы горим, школа тоже…

Мария Федоровна Кот (д. Большие Прусы, Копыльского района, Минской области):

– Окружили нашу вёску утром… Мы в глинобитке собрались, человек двадцать соседей. Слышим, уже идут… И как застреляли в двери, в окна, младшенькая моя: *«Ой, мамочка!»* Глянула я, а ей сюда попало, в переносье. Только захрапела. А другой уже шестнадцать было, моей старшей. Лежу в моих детях. Убили нас, а я все чую, как за печкой добивают соседей. И глаза открыла. Женщина целует ему левую руку, не дает кровать отодвинуть – там дети, а он бьет ее наганом по голове. Толкут кроватями тех детей, а они пищат, господи! А другой увидел, что я смотрю, подбежал и трах, трах, трах! Я как сейчас вижу синий наган, синий синий, и огнем меня по лицу, по лицу. Оттянул меня за ноги от моих детей. А я все живая. Слышу, опять ходят. Думаю, гэта ж опять немцы. А гэта сын мой, Жора, в крови, ничего не видит, к порогу идет. *«Сынок!»* А он: *«Я думал, мама, вас нет уже, хотел идти, пускай убьют меня…»* – *«Ложись, сынок, на место то самое, может, оно счастливое!»* Не знаю, или услышали там или что, но один забегает: *«Вставай!»* Постоял. Потом под печь гранату бросил. А уже дым, уже палят глинобитку, облили чем то. Потолок горит над головой. Не забили они нас, так еще горше – сгорим живьем. Вскочила я, кровать у окна стояла, раму выбила, зову Жору: *«Помоги вынести их»*. Подняла старшенькую, так оно такое молодое, мя яккое!.. Не могу, тяжелая, и руки мои омертвели, а не хочу, чтобы еще и сгорели они. Как то втащила их на кровать, на окно, сами вывалились с Жорой, в яму от картошки затащили. А деревня вся горит, людей тащат, кого откуда, пищат, кричат, а немцы по огородам ходят, свистят, а тут свиньи чавкают над обгоревшими хозяевами своими… Ближе они, все ближе свистят, чавкают, уже жалею, что не убили нас там: найдут,

будут мучить опять, а мы тоже будем кричать, пищать…

Татьяна Федоровна Кравчонок (д. Брицаловичи, Осиповичского района, Могилевской области):

– После Сталинграда это было. Я это помню, потому что брат из леса приходил, радовался. И сказал, что немцы злые теперь будут. А назавтра и командир какой то приезжал, советовал, чуть услышим немцев, в лес прятаться. Но потом попросил овец дать, тут некоторые и решили: а, вот почему пугал! Знали мы про это и сами, но это же зима, мороз, а тут дети, а одежды, чтобы теплой, не было… Тяжело увесь час в лесу. Нас и захватили в деревне. Приказали к школе собраться, документы, аусвайсы проверять. Заперли нас, ни воды детям, ни выйти. Взяли человек сколько в подводы: в лес, в пустой лагерь партизанский кто то повел немцев. Вернулись еще злее, возчиков избитых к нам бросили. Они в том лагере подорвались. Сначала в партизанскую землянку послали наших деревенских. Те вошли, постояли, ни до чего не дотрагивались. Ни до гитары, ни до шинели. А потом немцы вошли, четверо, и тронули. Их и закинуло аж на сосну.

Стали они нас гнать. Из школы в сарай колхозный. Сначала партиями гнали, а потом семьями. Меня последнюю, я последняя была. И четверо детей моих со мной. Моего старшего так на самом пороге положили. Упала я на убитых, и детки со мной. Вот сюда, в шею, мне попало. Только слышала, как немец сел на мои ноги и стреляет из этого… автомата… Дым, чад такой, невозможно. А когда поднялась, посмотрела на всех, то думаю: *«Это все будут подниматься, вставать или это я одна?»*

Юлиан Рудович (д. Доры, Воложинского района, Минской области):

– Сказали всем идти в церковь и помолиться богу, и нас

пустят домой. В церкви немец подошел ко мне: *«Отдай киндера матке»*, – а меня за воротник и вытолкал вон! Вытолкал. Если детей оставляешь, пущали! Пущали! Женщин, матерок тоже, но не каждая мати так может сделать. Ну, моя жонка не кинула, не кинула… Не знаю… Но кто то должон и в живых остаться, раз так, правда или нет? А моя не захотела, осталась с малым. Немцы церковь подпалили, мы все, которые на улице, слышим, как люди там летают. Из пулеметов всех перерезали – огонь только…

Надежда Александровна Неглюй (из бывшей деревни Левищи, живет в Красной Сторонке, Слуцкого района, Минской области):

– Несколько раз они приезжали, но мы в лесу прятались. Тогда они приехали и остались. Никого не трогают, ничего, свое едят, а самый ихний главный с учительки сыном в шахматы играет. На плече у эсэса обезьянка в штанишках, живая. Правда! Живая такая малпочка. Ну и стали некоторые домой приходить. Не держат и назад тоже отпускают. А мороз, а одежа известно какая до войны у людей, ну и потянулись по домам. А они вечером посчитали, сколько окон светится, и – раз – уже никого не выпускают из деревни!..

Сначала скот весь собрали на выгон, за вёску. И мужчин, которые здоровше. Я мужа своего отправила, не хотел, плакал, все мы плакали, уговорила, бо нашто, каб усе разам. А детки все спрашивают: *«Нас будут убивать, мамка?»* О, боже!.. Выскочу на двор и назад бегу, а то убьют, а они одни там. Зашел немец, смотрит, будто считает. Показал мне идти за ним в хлев. Я не пошла. Он ничего, вышел. И тут же вбежал другой и прямо ко мне. Очнулась, все детки тут же лежат мертвенькие, горит потолок надо мной, а я зачем то чугуны хватаю и выношу, зачем то чугуны выношу…

Мария Александровна Лихван (д. Борки, Малоритского района, Брестской области):

– С восемнадцати до сорока всем мужчинам выйти!

С восемнадцати до сорока… Так муж мой как держал девочку, опустил, поцеловал и вышел. А немец взял кривзу[1] – так много тех мужчин навыводил, в три ряда поставил: и старших, и которые моложе, и совсем молодых – а потом взял кривзу и во так кривзою, такою жердью, на ней копны носят, мужчин поровнял, чтобы они уже так ровненько стояли. Поровнял их, а мы уже так плачем, плачем! И дети плачут. Нигде ниточки в платках не было сухенькой.

И гонят, гонят их на дорогу ту трактовую. Тех мужчин гонят. И те немцы, что гонят, то уже – чекушку из кармана: хлебнул, хлебнул и вот так в плащ закутываются. И погнали их.

А наш солтыс в ту, в легковую, сел и куда то в сторонку отъехал и слез. И так по хатам все бегает, по хатам бегает и тех лопат насобирал. Еще люди не знали, думали, что, может, облаву делать на партизан или еще что. Ничего не знали… А как лопат насобирал, то говорим: *«Уже на нашу голову насобирал, на нашу голову»*. И поехал в ту сторону – на кладбище…

И загнали одну пачку, пришли снова брать, снова набрали тех мужчин… Забыла, три или четыре раза… Загнали и заставили там ямы копать. Давай ямы копать. Для нас всех… И даже не очень далеко… Стали убивать наши Борки…

ОТЧЕТ (7)

Уничтожение деревни Борки[2] с 22.IX по 23.IX 1942 г.

22.9.42. Рота получила задание уничтожить деревню Борки, расположенную в 7 км к востоку от Мокран.

В ночные часы того же дня взводы роты были

проинструктированы о предстоящем задании. Были сделаны соответствующие приготовления.

Число автомашин было достаточным, чтобы 22.IX погрузить и отправить к месту сбора в Мокраны все взводы и приданный взвод 9 роты. Переезд прошел без происшествий.

Необходимые для предстоящих действий телеги были заготовлены заблаговременно, так что в указанное время они достигли цели марша Борки. При отборе телег были выявлены несколько строптивых крестьян, рота потребовала их наказания.

Действия протекали планомерно, но все же иногда были сдвинуты во времени. На это были следующие причины: на карте деревня Борки показана замкнутой группой домов. В действительности оказалось, что это селение имеет протяжение в 6–7 км в длину и ширину. Когда рассвело, то я обратил внимание на этот факт и поэтому расширил окружение с востока и охватил деревню клещами при одновременном увеличении дистанции между постами. Этим самым мне удалось охватить всех жителей деревни без исключения и доставить их к месту сбора. Благоприятным оказалось то, что цель сбора была до последнего момента скрыта от населения. На месте сбора царило спокойствие, число контрольных постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы введены в действие. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела, благодаря этому население оставалось в неведении о предстоящем. Незаметно установленные легкие пулеметы подавили с самого начала начавшуюся было панику, когда прозвучали первые выстрелы с места казни, расположенного в 700 метрах от села. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов они упали, пораженные пулеметным огнем. Экзекуция началась в 9.00 часов и закончилась в 18.00. Экзекуция протекала без всяких происшествий. Подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными.

Конфискация зерна и инвентаря происходила, если не

считать сдвига во времени, планомерно. Число телег оказалось достаточным, так как количество зерна было невелико и место, куда складывалось необмолоченное зерно, – недалеко.

Домашняя утварь и сельскохозяйственный инвентарь были увезены с подводами с хлебом.

Привожу численный итог расстрелов. Расстреляно 705 лиц, из них мужчин – 203, женщин – 372, детей – 130.

Число собранного скота может быть определено лишь примерно, так как на месте пригона учета не производилось: лошадей – 45, рогатого скота – 250, телят – 65, свиней и поросят – 450 и овец – 300.

Из инвентаря собрано: 70 телег, 200 плугов и борон, 5 веялок, 25 соломорезок и прочий мелкий инвентарь.

Все конфискованное зерно, инвентарь и скот были переданы управителю государственного поместья Мокраны.

При действиях в Борках было израсходовано: винтовочных патронов 786, патронов для автоматов 2496 штук.

Потерь в роте не было. Один вахмистр с подозрением на желтуху был отправлен в госпиталь в Брест.

Мюллер».

Подписано: обер лейтенант, в.и.о. командира роты. [3]

… Нас толкают, теснят куда то от колодца, сзади, возле амбара, гулко бьют пулеметы, но даже они не заглушают человеческого крика.

Что то делается со мной, я все тянусь, бессмысленно и яростно, к открытой машине, где застыли старческая спина и гладкая, бритая голова моего врага, возле

которой все мечется, гримасничая и дразнясь, белоглазая образина с крысиным и толстым хвостом. Полицай меня отталкивает, но он и сам как во сне. Я уже почти добрался до машины, когда она внезапно вздрогнула и сорвалась с места. Что я хотел делать, да и что я мог сделать, не знаю. Может быть, меня тащила к нему нестерпимая потребность взглянуть и мстительно запомнить. И увидеть, что закрывает своим хвостатым задом, не то пряча, не то зовя посмотреть, мечущаяся обезьяна.

По какому то чувству это в моей памяти сдваивается с тем, как в Луврском подвале, рассматривая средневековые романские надгробия, я заглядывал в лица старух монашек, несущих мертвого рыцаря. (Я все ездил, все смотрел, точно про запас, точно знал, что скоро останусь один на один с темнотой.) Рыцарь каменно вытянулся вдоль своего длинного меча с рукояткой крестом, ступнями ног он попирает льва, покорно маленького, а черные старухи по живому согнуты под тяжестью его тела, и лица их спрятаны в глубоких раструбах капюшонов. Нестерпимо тянет наклониться и заглянуть под черные капюшоны, все кажется, что там беззвучные довольные гримасы смеха!

Я не знаю, что увозила, закрывая, пряча, сутулая спина моего врага, покорно склоненная под пляшущей обезьянкой, какая гримаса была на его лице. Все та же: жестокое, изучающее любопытство? Уверенность очередного победителя, что так всегда останется: *«они»* – под нами, *«мы»* – над ними? И самая коротенькая, но и живучая в истории наркотическая идея, что сила – это и есть право, цель, справедливость.

И конечно же гримаса людоедского презрения к некультурности жертвы, лик которой искажен нечеловеческой мукой!

Думаю только, что он уезжал от пылающего, воющего амбара без мысли, что уже сегодня все внезапно переменится. И солнце еще не зайдет, как все ему покажется другим. И будет другим.

– … Флориан Петрович, я вот слушаю вас всегда… И вот думаю, как люди оклеветали животных! *«Животные инстинкты»*, то да се… Хорошо бы именно животные! Я в этом году месяц прожил в Беловежской пуще. Как просто, я бы сказал, моральными средствами зубр и даже дикий кабан утверждают главенство над собратьями. Ведь самый кровожадный зверь редко когда загрызет насмерть себе подобного. Во всяком случае, борьба с представителями собственного вида у них не носит уничтожающего характера. Это и есть инстинкт самый животный – сохранения вида! Вот говорят, и им не надоест одно и то же! (Бокий постучал ладонью по липкой чмокающей коже портфеля.) Мол, природа повинна в том, что агрессивен, жесток человек к себе подобному. Если и повинна в чем мать природа, так лишь в том, что слишком далеко отпустила его от себя. И он слишком вышел из сферы притяжения природы – почти утратил основной инстинкт, да, тот самый животный инстинкт сохранения вида!

– Вот вот, коллега! А дальше начинается *«вторая природа»* – культура. И весь вопрос, какая она. Насколько гуманная, насколько человечная и человеческая. Ну, а фашизм – это клевета и на природу человеческую и на культуру его. Самая злая в истории клевета!

– А сама история? Тоже клевета? Войны, инквизиции, крестовые походы, Варфоломеевские и всякие другие *«ночи»*, вонючие *«розы»*, бесчисленные Тамерланы и богдыханы, украшающие планету монументами из миллионов человеческих черепов?!

– И все таки фашизм – это клевета на человека. Даже доисторический наш пращур в звериной шкуре, даже он не заслуживает такого оскорбления – быть предком фашиста. Нет, вы хорошенько представьте его себе, нашего бедного пращура: без клыков и быстрых ног и совсем не сильный среди зверюг, облысевший всем телом от потных усилий выжить! Единственное смертное существо, такое одинокое в мире, потому что

никто больше не знает, что есть смерть! Хорошо, если от зверя единоплеменник умер, на охоте погиб. А если без причины, то есть от болезни? Как было не приходить в ужас, не объяснять это колдовством соседей? Животное чувство бессмертия сталкивалось с человеческим опытом, осознанием, что смерть может настигнуть. Настигнуть бессмертного? Не иначе как колдовство! Умер *«наш»* – ищи соседа *«колдуна»* и убей! И не месть это даже, а профилактика – тогдашняя медицина. Он не свиреп, он трогателен, этот наш пращур, в своей детской беспомощности перед клыкастым и непонятным миром…

– Ну вот, пожалуйста, уже тогда человеческое сознание разошлось, как ножницы, с инстинктом сохранения вида. Сознание ограничило этот инстинкт, сузило до масштаба племени: другое племя – уже не *«мы»*, можешь убить, можешь сожрать! Ну, а раз чужого *«колдуна»* можно убить, почему же, если до него далеко, не поискать его у себя, среди единоплеменников? Так даже быстрее и удобнее. *«Ищи колдуна!»* – разве не этим простеньким способом, Флориан Петрович, действовали манипуляторы всех времен и народов? И срабатывает, заметьте, безотказно. *«Мы»* – арийцы, *«мы»* – белые, у *«нас»* самый самый, *«мы»*, *«мы»*, *«мы»*!..

– Да, но без *«мы»* нет и сопротивления всему этому. *«Мы»* – революция! *«Мы»* – люди труда! *«Мы»* – человечество! Я про такое *«мы»*, что питает и повышает человеческую способность осознавать, ощущать чужие страдания, боль как свои собственные. И даже острее, чем свои. Что и говорить, после всего, что плыло по реке истории, низовья загажены изрядно, чем только не занавожено русло. И все же исток всегда чист. Но надо, чтобы как можно больше людей осознали наконец смертельную угрозу загрязнения не одной лишь природной среды, но и человеческих душ. Конечно, привычнее спускать ядовитую грязь в реки и озера. Быстро и дешево! И еще привычнее иметь не граждан, не людей, а налитых фанатической бурдой крестоносцев, штурмовиков, хунвэйбинов, суперменов.

Быстро, кратчайшим путем, дешево с их помощью решаются дела государственные и всякие иные. Так некоторым кажется. Да только очень дорого сегодня, завтра это может обойтись всему человечеству, планете. Придется осознать и это, если мир не хочет погибнуть. Как там у поэта: *«Осторожно, человечество! Слово «ненависть» включено!»*

– Хо, если не хочет погибнуть! Чего захотели! Да у вашего мира глаз, как у курицы: видит только отдельно взятое зерно, которое поближе. И вообще вы слишком рассчитываете на мое долготерпение. Это при нынешней то бомбе? Не опоздайте, Флориан Петрович!

… Горело и выло, как в раскаленной трубе. Нас гнали по улице пылающей деревни, а мы гнали коров. Ради этой, очевидно, работы нам разрешили спастись, вылезти из амбара: живите пока! Или тому с обезьянкой захотелось посмотреть, как люди полезут в оставленную им щель?

Палок нам не дали, мы ладонями, кулаками бьем коров по бокам, по костям, хватаем за рога. Проталкиваем ошалевшую скотину сквозь огненный коридор. А за нами идут каратели с палками и прикладами. Некоторые из них в странной, незнакомой одежде: желто зеленые мундиры, а на головах круглые зеленые кепки с очень длинными козырьками. Орут на нас и на скотину не по немецки, хотя тоже непонятно.

Теперь и я пойду по той проклятой гравийке, на нее мы выходим. Пылающая деревня немо и страшно шевелится у нас за спиной, как что то живое, в смоляно черном широком мешке дыма.

Я жадно смотрю на лес впереди – там это случится. Даже странно, что немцы и эти, под длинными козырьками, все такие же уверенные, злые, орущие, озабоченные тем, чтобы не отстала какая нибудь корова и не свалилась с телеги крестьянская борона, плуг, мешок с зерном, этим озабочены, а не тем, что в том

лесу они умрут, захлебнутся собственной кровью! Я так хорошо вижу то, что делается сейчас в лесу: как бегут люди к гравийке, как устанавливают пулеметы и смотрят из за пней и деревьев на лесную поляну, на которую выедут немецкие машины, обоз, выйдут каратели. Немцы все не рассаживаются по машинам, каждая группа, команда идет за своей машиной растянутым строем. Это плохо. Но, значит, боитесь, знаете, что так это не сойдет вам, знаете! Я все оглядываюсь, смотрю, где теперь легковая машина с моим главным врагом. Я так это вижу, все, что сейчас произойдет! Даже глаза их вижу, партизан. И я умоляю их, я требую, чтобы они были, чтобы появились. После всего, что случилось, они не имеют права не быть, они обязаны быть! Я прячу глаза от полицаев, чтобы не выдать того, что знаю, бегаю больше всех за коровами, поднял стебель от срубленного подсолнечника и гоню коров на дорогу, громко кричу, ору на них. За мной бегает мальчонка, которого женские руки вытолкали в окошко и которого не убили. Я ему сказал: *«Держись меня!»* – и он послушно следует за мной, а сам все оглядывается на огромный, черный, по живому шевелящийся дымовой мешок над деревней. С нами еще и девочка, которая так подхватила ребенка из амбара и так долго не отдавала. По бледному строгому лицу ее все текут и текут слезы, она никого и ничего не замечает и только плачет, бредя среди стада коров. И старуха здесь, та самая, с которой я шел от сарая к деревне. Она все подносит ко рту черные, высохшие руки, одну, другую (по очереди), не то кусая их, не то стараясь удержать от дрожи сморщенные губы.

У мужчин, мужиков, выпущенных, спасшихся (их не больше пяти шести), в глазах, в движениях бессмысленная торопливость и какое то общее непонимание, зачем они, куда они, как оказались здесь?..

Каратели вдруг забеспокоились, зазвучали немецкие команды, от машин бегут к нам. Я даже испугался, что догадались, узнали то, что известно мне. Но саму их тревогу, беспокойство видеть хочется: ага, боитесь,

значит, это правда будет!

Теперь немцы тоже помогают нам и полицаям собирать стадо на дорогу. Мин опасаются, решили коровьими ногами дорогу проверять? Я незаметно оглядываюсь, ищу глазами, где там открытая легковушка.

Наконец на ходу перестроились, как хотелось немцам: впереди стадо коров, потом мы, погонщики, за нами полицаи и те, с длинными козырьками, а уже за ними немцы – пешие, потом на машинах, обоз. Полицаи все оглядываются на немцев, как на хозяина собака, почуявшая медведя. А, бобики! Сейчас вам, сейчас!.. Лес уже совсем рядом. Снова увидел молодого полицая, который так сердито гнал меня и старуху к деревне. Я вдруг прикрикнул на него:

– Чего отстаешь, давай!

Удивился он до испуга. Как если бы дерево на него гаркнуло или мертвый. Здесь, вблизи леса, мы незаметно меняемся местами, хотя винтовка все еще в руках у него. Винтовка, кажется, французская, длинная, как грабли, неудобная. Лучше бы автомат. У полицая только сапоги хорошие: не жесткие и короткие, как у немцев, а наши, армейские…

Нас снова бегом догоняют немцы. Полицаи сразу посмелели, приободрились.

Но я то вижу, я уже разговариваю с теми, которые их поджидают, которые впереди – минут на десять, на двадцать впереди…

Дорога сузилась, зажатая с обеих сторон лесом, глубокие канавы по обе стороны забиты ольшаником. Коровы, надышавшиеся дымом, кровью, все сбиваются в кучу, мычат, нюхают землю, бодаются. Немцы, присланные на помощь полицаям, решили, кажется, прятаться от партизанских пуль внутри стада, за коровьими спинами, боками. И их теперь крутит, носит этот мычащий, бодающийся коровий водоворот. Нас всех он засосал, сталкивает друг с другом и тут же

растаскивает. Даже весело делается от такой нелепой беспомощности. Одному немцу мое лицо показалось усмехающимся, обидным.

– Бандит? – спрашивает он. Немец очень низенький, даже горшок каска не придает ему роста. – Партизан?

– Швайн? – помог ему полицай. В этом коровьем водовороте и от страха они, кажется, не заметили, как поменялись языками, головами, своими коротенькими идейками.

– Никс! – кричу я, уносимый в сторону. – Я есть шулер. Бандиты там. (Я показываю на близкий ольшаник.) Мы есть бауэр. Ну ты, падла, пошла!.. Шуле, бауэрколлектив!..

Я сам вижу свое лицо, торжествующе злорадное, знаю, что перебарщиваю, и не могу удержаться. Издали, из за пьяно опущенных коровьих голов глаза наши, мои и низенького немца, встретились, сцепились. Он пытается пробиться ко мне, я знаю, что он готов выстрелить, если бы не боялся поднять тревогу, мне бы отвести глаза, но я ничего не могу с собой поделать. Теперь, куда бы меня ни относило, я чувствую злого коротышку. Он, стуча автоматом по коровьим рогам, все пробивается ко мне поближе, а я ухожу от него по мычащему, бодающемуся кругу. Броситься в лес? Или дождаться первого выстрела, паники? Даже странно, до чего я уверен, что засада ждет, точно и в самом деле вижу ее. И совсем не думаю про то, что пули разбираться не будут, кто какой и чей. Но для меня мало, чтобы это случилось, мне надо быть при этом, в этом – только так и может завершиться этот день, а иначе он и не окончится для меня никогда…

Что такое? Лес кончается? Будто саму землю из под меня выдернули. А злой коротышка под горшком каской уже вырвался из стада, уже отступил на поляну, заходит сбоку, ищет меня глазами. Нет, это всего лишь большая поляна, с одной стороны переходящая в поле, а впереди снова лес.

Тот самый, где дожидаются, откуда ударят! Коротышка снова втискивается в стадо: все таки неуютно, зябко ему там, на открытом. Зато я теперь могу выбраться наружу, идти сбоку, зная, что он ко мне не выйдет.

Стадо ошалевших, одичавших от дыма и запаха крови коров, как речной водоворот, несущее на себе плечи, головы, каски, пилотки немцев и полицаев, уже вытолкалось на поляну, уже расползается по ней. Я и несколько мужчин из Переходов да полицаи палками, окриками гоним коров к дороге, снова к лесу. Уже и машины показались, движутся по поляне, я вижу открытую легковушку и даже скачущую там обезьяну…

Я знаю, как видится из засады вот такая колонна (дважды сам лежал в засаде), и теперь смотрю на поляну как бы вдоль ствола винтовки, ловлю мушкой, веду на себя бритую голову, над которой носится обезьянка. (Я все оглядываюсь на легковую машину, даже забываю следить, где сейчас опасный коротышка.)

Машины и немцы уже на поляне, стадо и дозорные полицаи совсем близко к узкой пасти дожидающейся нас лесной дороги – сейчас, сейчас! Я подозвал к себе пацана из Переходов, держу его за плечо, чтобы вовремя толкнуть на землю… Я не иду дальше, пропускаю мимо себя стадо и дожидаюсь легковушку, чтобы быть поближе к ней, когда начнется. Поторапливаю палкой коров, готов и карателей и машины подгонять: быстрее, быстрее, сейчас, сейчас!..

– Сразу падай!– радостно дрожа, шепчу я ничего не понимающему, но тоже дрожащему пацану. – Где та девочка, надо ее сюда.

Но ничего не случилось. Мычащее, бодающееся стадо внесло на себе дозорных полицаев, немцев в лес, углубилось, втягивается, и ничего не произошло. Лесная тишина не проломилась с громом, не раскрылась гулкой бездной под ногами карателей.

Нет, случилось! Самое страшное случилось! Никто не бежал, не спешил сюда, когда под амбарную стену в

горящую солому падали из рук матерей дети и обезумевшие руки эти тянулись, кричали, молили, звали… Как я презирал, как ненавидел себя за то, что никого нет, никто не бежал, не прибежал хотя бы сейчас, чтобы стереть с лица земли этих, этих, этих!.. Я луплю палкой по спинам ни в чем не повинных коров, гоню их к дороге, что то ругательное кричу самому себе, совсем не думая уже и про злого коротышку, который, наверное, снова подстерегает меня…

– Ага, ага вам!

Мстительно, оглушающе взвыли вдруг пулеметы – не впереди, а позади колонны. Огненные взвизги пуль густо, широко прошивают поляну. Там, где машины, уже бухает, горит, а над лесом (или это во мне?) кричит, хохочет, плачет от злого, мстительного счастья широкое, как целый мир, эхо. Ага, ага вам! Вот вам, вот вам! Я наталкиваюсь на бока, на рога, на морды, на коров, на карателей, которым неповоротливые коровы мешают залечь и стрелять. Я вижу, как убегают в лес полицаи. Где же мой пацан и та строгая плачущая девочка из Переходов?.. И где легковушка?

И тут я увидел ее, мчащуюся прямо ко мне, испуганно подскакивающую на кочках и рытвинах легковушку. Не понимая еще, что я могу, что собираюсь сделать, я бросился ей навстречу. Еще успел разглядеть трясущуюся, как бы отрывающуюся, как бы кукольную темно глянцевую голову своего врага, расширенные на все стекла золотых очков глаза и ужас на белой мордочке обезьяны. Машина почти налетела на взрыв…

И я тоже. Лес, как крылья огромной птицы, оглушительным черным взмахом переломился над дорогой, над горящими машинами и унес с собой все. В целом мире осталось очень простое и очень спокойное удивление: *«Это смерть? Это и есть смерть?»*

… Возвращение, свет я ощутил вначале как резкую боль в глазах… Я лежу, погруженный в ровную свистящую

тишину, а на лицо мне падают капли, твердые, холодные. И желтые. Я их вижу, желтые. Нет, это березы надо мной, спокойные, мокрые, осенние. И какие то люди рядом. Глаза мои налиты болью, слезой… Я лежу не на земле, а на чем то высоком. Белое что то, да это лошадь. Я на телеге. И какие то люди. Больно скошенные глаза мои поймали широкое человеческое лицо, мужское, плывущее в радуге, а рядом женское, смеющееся. Как давно я этого не видел, смеющегося человеческого лица. И как это странно – слышать тихие разговаривающие голоса…

– А все таки предала ты меня, Наташа.

– Это почему же?

– Если бы я знал, почему.

– Слишком мало всем вам от меня надо. Вот так, Алеша.

– Да я…

– Постой!.. Ой, мальчик, свалишься!

А я уже свалился, на земле лежу. Так легко поднялся с телеги, словно взлетел, а вот стоять на ногах не могу! Ноги как тряпичные. И что то с глазами.

– Ой, как тебя! – совсем близко плывет, то появляясь, то исчезая в радуге, женское лицо. Мне помогают подняться. Нет, ничего, ноги твердеют, только очень дрожат.

– Дай я промою. Подай, Алеша, сумку. Сумку! А руки убери. Я не убегаю, Алешенька. Ничего, миленький, целенькие глаза, немножко ударило, засыпало. Ты из деревни этой? Твои ушли, назад побежали в деревню. Как же они не сказали, забыли про тебя?

– Нет… да… Немцев побили? Там был такой в очках, главный, с обезьяной.

– Кого побили, а кто вырвался. И взяли каких то. Целую кучу взяли живьем. Обожди, не дергайся! Больно?

Женские руки трогают мои глаза чем то пахнущим, аптечным, приятно холодным.

– Потерпи. Пока жениться…

– Где они? Такой в очках, с обезьяной!

– Да обожди! Куда ты? На вот, прикладывай…

Отталкивая налетающие на меня деревья, я бегу по лесу, затем по лесной просеке, заставленной возами, на которых сидят и лежат раненые партизаны, навалено оружие, немецкие одеяла.

– Где они? Где живые? – спрашиваю у партизан: как бы продолжается мой прерванный взрывом бег к испуганно мчащейся легковушке.

– Немцы? Там они.

– Малпу хочешь посмотреть?

Снова радуга плывет перед глазами, их снова заливает слеза, потерял тряпочку и теперь срываю шершавые, мокрые, прохладные листья орешника, пытаясь ими стереть боль.

Вот они, немцы! Сбитой кучкой, в таких нелепых здесь касках сидят на земле прямо на просеке, а над ними стоят партизаны – большая толпа. Я сразу заметил злого коротышку. Только совсем он не злой. Какой он злой, он самый добрый, тихий, самый смиренный на земле человек! И ростом он такой маленький. И мундир на нем такой не свой, такой мешковатый. И каску на голову ему кто то надел, как горшок, как для издевки…

С пуком ореховых листьев в кулаке я бросился к нему, к ним и, как камни, высыпал на коротышку их же слова:

– Рус, швайн, бандиты, цурюк, люс!.. Ах вы!..

Никто не понял. Партизаны на меня смотрят с удивлением. А коротышка явно не помнит, что это его слова, что совсем недавно они выражали все, что он

думал, что делал. Из под каски горшка на меня глядит с непониманием и неподдельным ужасом совсем не тот, совсем другой человек.

– Это они, они! – закричал я, испугавшись, что этим их удивленно скорбным и смиренным глазам, лицам уже поверили. – Они! – кричу я и стираю грязными руками плывущую радугу, боль, мешающую мне.

Наконец я разглядел него. На него все смотрят. Нет, не на нет а на обезьянку, которая на нем. Молодой партизан–*«веселун»* (в каждом отряде, в каждом взводе есть такая добровольная должность), обвешанный ремнями и оружием, делает вид, что хочет взять обезьянку, трогает ее за хвост. Метание, убегание, смешные внезапные движения сухонькой старушечьей лапкой, но мордочка, но глаза обезьянки вблизи уже кажутся ничего не выражающей неподвижной маской.

– Не дается, зараза! – довольный, смеется партизан, и другие тоже улыбаются. А врага моего вроде и не замечают, будто он и впрямь всего лишь подставка под обезьяной. Та же обритая голова, только грязная и потная, те же большие уши, тот же мундир, только золотых очков нет. И нет прежних глаз, взгляда, нет прежнего лица. Лицо, взгляд другого существа, совсем другого. Наклоняет голову, чтобы обезьянка не могла прятаться за нее от руки *«веселуна»*–партизана и чтобы самому снизу посмотреть, хорошо ли он держит, нравится ли партизанам. Глаза без очков слепые, беспокойные и, как у новорожденного, бессмысленные. Застывший испуг на физиономии обезьянки. На его же лице идиотски смиренная, дисциплинированная, скорбно услужливая старательность, кричащая всем и вопреки всему: *«Это я и есть, вот этот, этот, что хотите со мной делайте, вы имеете право, вы сами решите, но вот этот тихий, улыбающийся, покорный старик – это я, он – это я, вот этот – это я!»*

Они с обезьянкой точно местами, ролями поменялись: не она при нем, аон при ней. На нем так и написано: *«Я хорошо держу? Всем видно? Или вот так лучше? Или как еще надо держать?»*

– Это он! – говорю я, уже не кричу, а говорю, моего крика будто не слышат, не понимают. – Главный ихний.

Как то странно оглядывают меня партизаны, отстраненно и даже удивленно. Точно и впрямь не понимают смысла моих слов.

Потом то я ощутил, увидел, что собственной ненависти можно бояться, как закаменевшей в тебе боли: человек начинает удерживать ее, зажимать в себе, ожидая и боясь мгновения, когда уже ее будет не удержать.

Но сначала я, как на стену, налетел на эту глухоту, на недоумевающие, неохотные взгляды.

Нет, я знал, что карателей убьют, так же как знали это партизаны и сами каратели. Меня испугало, что им позволят умереть, уйти вот такими – добренькими, удивленно скорбными, смиренными, как бы переложившими что то на нас. Точно подставили нам кого то вместо себя! Нет, расплатиться должны те , именно те!..

Из одиннадцати пленных карателей только двое или трое с закоревшими от крови волосами и лицами, остальные даже не ранены. И среди них четверо не в касках, а в фуражках, кепках с длинными длинными козырьками. Эти, под длинными козырьками, сидят хотя и вплотную к немцам, но всем видом своим показывают, что они тут сами по себе и их нельзя смешивать с остальными. Особенно неодобрительно и даже презрительно на соседей немцев посматривает самый длинный изо всех, с шеей, изломанной громадным кадыком.

– Молодой человек правильно сказал, – внезапно произносит он, ловя взглядом мои глаза, – он сказал правду. Это немецкий командир всей команды. Он давал приказ. Он делал отчет в Берлин, как правильно делать экзекуцию, как лучше выполнять боевую задачу…

И повернулся в сторону моего врага, и трое соседей его

тоже повернулись. Немцы, не понимая, о чем говорит кадыкастый, с тревогой смотрят, сжались. А бритый даже обезьянку попридержал, как бы схватился за нее!

Но не этот ли голос (такой же пронзительный, тонкий, с акцентом) выкрикивал возле амбара: *«Приготовьте документы, аусвайсы, паспорта»*?

– Э, да ты по русски шпрехаешь! – удивился партизан–*«веселун»* и, забыв про обезьянку, повернулся к кадыкастому. – Ну как, хорошо мы вас по затылку? Что ж вы ходите и не оглядываетесь? Чай, не дома.

– О да, хорошо! Немцы идут, как на шпацир, а вы их здорово!

– А ты сам кто?

– Мы не немцы! – Кадыкастый даже обиделся.

Тут я увидел Косача. В военной фуражке и в своей опушенной мехом зеленой венгерке, держа автомат под локтем, идет по просеке, а с ним наши, наш отряд! Такие же партизаны, как и другие, как и эти, что вокруг меня. Такие же для постороннего. Для меня же особенные: это приближается, это возвращается мой мир, без которого и меня уже нет всего. Я сорвался с места, готовый бежать навстречу: увидеть всех, окунуть себя, вернуть себя в тот мир, где было все так прочно, надежно!.. Но впереди отряда по узкой заросшей просеке идет Косач. И хотя мне надо именно Косачу сказать очень важное для него, для нас обоих важное, я удержал себя. Набежать на Косача, налететь, неизвестно откуда появившись, на его неузнающе иронический строгий взгляд?.. Я этого так боюсь сейчас, после всего, что со мной было. Во мне и так все дрожит онемевшей от напряжения струной.

А Косач, разговаривая с усатым партизаном командирского вида, остановился шагах в ста от нас. И отряд остановился. Нет, не все. Обходят, обтекают Косача, по двое, по трое быстро идут сюда. Им навстречу откуда то выскочила, побежала девочка,

которая со мной шла из Переходов и все плакала с той минуты, как возле амбара из ее тоненьких рук вырвали ребеночка.

Девочка добежала, схватила за руку, за локоть большого, тяжелого и решительно идущего партизана в негнущемся брезентовом плаще, и я узнал этого партизана – Переход. Это снова вернуло меня к тем, кто сидел у наших ног, – к карателям.

– Гэ, соседи наши! – воскликнул партизан, не устающий вести свою добровольную роль весельчака, *«веселуна»*. – Ну, что высидели на той дороге? А мы на гравийке во что! Мартышку!

(Каратели обычно уходят не по той дороге, по которой приходят, появляются. Наверное, потому и разделились засады и наши сидели на другой дороге. А партизан во всем военном и с биноклем на груди – с ним задержался, разговаривает Косач, – наверное, командир вот этого незнакомого отряда.)

Переход, огромный от торчащего мокрого плаща, быстро, резко подошел к нам. Стал снимать с локтя худенькие руки повисшей на нем девочки, плачущей и строгой. Пока он неумело разжимал по одному ее цепкие тоненькие пальцы, подбежал к немцам и остановился второй Переход – его племянник. У Перехода младшего, очень бледного и тонколицего, глаза чем то похожи на большие глаза нашей девочки из Переходов.

Перед ними расступились, как бы сразу поняв, кто они.

И снова я увидел, как крайняя сила чувства вдруг парализует человека, забирает на себя всю энегию, волю, сковывает, как судорога. Переход младший остановился в трех шагах от карателей: вспотевший лоб, бледные скулы как заледенели, взгляд неподвижный, а нижняя часть его тонкого лица вздрагивает, перекашивается, из горла вырываются звуки, которые показались бы смехом, если не видеть этого лица.

Старший Переход, чем то похожий на Косача, но более угловатый, громоздкий, как в воду, вошел в самую середину сидящих на земле карателей, отталкивая коленями то, что на пути. Стал над головами немцев.

Кажется, само дождливое небо тяжело опустилось, снизилось. Сделалось душно. Теперь слышно только дыхание, точно мы сорвались с места и молча, страшно куда то бежим, несемся.

– Ну? – тихо спросил Переход. – Так это вы?

– Мы не немцы, – поправил его кадыкастый переводчик.

– Вот ты мне и нужен… А ну вставай! Все вставайте!

Вряд ли человек знал, что он собирается делать. Как обожженный мечется, кидается в поисках холода и положения, в котором не так нестерпимо болело бы, заметался, забился и этот огромный сильный человек.

И в других это прорвалось:

– Гони их на поляну! Что тут смотреть!..

– Кончать их! А ну, вы!

– Сидят, как христосики!..

Быстро, заспешив на крики, подошли Косач и усатый командир. Их увидели каратели и, кажется, истолковали, поняли крики и толчки как требование оказать воинское уважение к командирам, перед которыми партизаны расступились. Испуг сразу сменился старательностью, вытягиванием рук по швам. Лишь бедняга фюрер мучится от неловкости, неуверенности: он не решается сбросить с плеча, обидеть обезьяну, которая понравилась партизанам, а с нею вытягиваться – вроде неуважение, не по форме получается. А ему так хочется, огромными буквами написано на нем, как старается он показать, продемонстрировать командирам воинское уважение. Тем более что они одеты по форме. Как и он! Они заметят, вспомнят, что на нем военная форма. Но

обезьяна!.. И сбросить ее боязно, как из под укрытия выйти. А с обезьяной какая же форма, какое уважение? Фюрер карателей и вытягивается, и сутулится, и дисциплинированно, подтянуто смотрит, и несмело, вопросительно наклоняет бритую голову. Может, партизанские командиры как раз обезьянкой, а не им заинтересуются?

Косач рассматривает карателей с такой знакомой жестко-иронической усмешкой, но как она теперь кстати. Как я понимаю и люблю ее в эту минуту! Я тоже должен был не бежать, не кричать, а вот так подойти и смотреть на них!

Усатый командир стоял рядом с Косачем и любовался своим трофеем – пленниками – с заметным удовольствием. Но Косач вдруг увидел меня и совсем неожиданно узнал. (Трудно было не узнать, когда все во мне кричало, что это я, что мне надо ему сказать, рассказать…)

– Ты? Ну что?

– Товарищ командир, они на *«острове»*, – я пробиваюсь к Косачу из за спин, – там раненые, мы с Рубежом ходили на хозяйственную операцию, его убили, и Скорохода, и *«коменданта острова»* убили…

Я все не произношу *«Глаша»*, не называю это имя, сам не знаю отчего.

– Ты как здесь оказался? Ладно, что у тебя с глазами? Пойди к Филиппову.

Филиппов – наш отрядный медик.

Мне все кажется, что Косач знает про то, что я был с Глашей, но тоже не хочет называть ее имя, потому что при всех…

– Командир, хотите на память? – партизан–*«веселун»* подает усачу пачку фотографий. – Нашли вот у этих. *«Люби меня, как я тебя!»*

Из рук добродушного усатого командира фотографии пошли по кругу (только Косач не берет). Мне попалась солдатская, одиночная. Кто то из них: в черном плаще, руки на автомате, а ствол направлен прямо в объектив, в лицо тому, кто будет смотреть. Я разглядываю живых карателей, чтобы определить, чья фотография. Но ни у кого нет такого лица, такого взгляда. На фотографии остановлен миг, когда не было даже мысли, даже намека на мысль, что возможно положение, когда он сам будет не понимать, не будет помнить, как ему могло хотеться чего то другого, а не этого лишь, чтобы не было направленного ему в голову автомата, чтобы не убивали его, чтобы жить, жить!..

– Что с ними делать будем? – спрашивает старик партизан, видимо, из числа приставленных охранять пленных карателей. – Скоро на довольствие попросятся. Смотрю я, вроде и люди, если не знаешь.

– Сами знают, чего они заслужили, – спокойно сказал усатый командир. – По русски тут есть кто?

– Вот этот, длинный.

– Ну так что? Зачем сдавались? Неужто рассчитываете, что после всего земля вас носить будет? – Усатый говорит ровно, твердо и все так же добродушно. Наверное, все очень просто возле такого командира. К нему партизаны его обращаются с обязательной улыбкой, и это улыбка удовольствия.

– Мы не немцы. Немцы вот, – упрямо повторил кадыкастый переводчик.

– Больше ничего в свое оправдание?

– Что? Убить?! – вдруг выкрикнул Переход старший. Протестующе, несогласно выкрикнул: – Да их надо!.. Да их!..

В этом почти бессмысленном, но сразу понятом нами протесте против того, что они уйдут, спрячутся в смерть, а деревня Переходы, а то, что там совершилось,

останется с нами, в этом, может быть, объяснение, почему мы их погнали дальше, повели с собой живых. Они для нашей обжигающей ненависти были вместо того холода, который я когда то искал, хватал на ходу, нес в покрасневшей вздувшейся ладони…

… Уже через два часа нас преследовали броневики, цепи автоматчиков. Над опушками леса проносились самолеты. Мы уходили к болотам – к Чертову Колену, уводя с собой пойманных карателей.

По слепому яростному артобстрелу, по самолетам ощущалось, что немцы, сжимавшие кольцо блокады, сильно забеспокоились, обнаружив активных партизан у себя за спиной. (*«Косачевцы»* и отряд усатого командира дней за пять до сожжения Переходов вырвались из блокадного мешка.)

Пока наши засады придерживают немцев, оба отряда уходят, унося раненых. Раненых много, и почти все недавние, блокадные. Людей, рук не хватает для носилок, хотя нас немало идет, сотни три. Пойманных карателей тоже приспособили, заставили бежать с ношей (из одеял и жердей носилки). Они несут старательно и очень пугаются, очень теряются, когда раненый от тряски начинает стонать.

Возле самого болота нас встретила ночь. Преследователи остановились, немецкие ракеты пляшут километрах в двух от нас. Время от времени немцы бросают снаряды в болото, считая, что мы уже там. Под ногами сыро, холодно, носилки приходится поддерживать на весу, подставляя колени, и люди собираются группками, тихо разговаривают, курят.

А я ищу Косача. Несколько раз я прошел мимо сидящих на корточках карателей. Партизаны, которых выделили в сторожа при карателях, заметно нервничают, злятся: в такой темноте, да когда нас самих окружили, нас самих сторожат немецкие дивизии, конечно же каратели прикидывают, как бы удрать.

Наконец я увидел его. Косач с кем то громко разговаривает возле белой, как бы светящейся березы или осины. Я дождался, чтобы он остался один, и приблизился. Косач сидит на пеньке и устало курит. Я выдохнул:

– Товарищ командир, – и опять заспешил: – *«Остров»*… раненые… Рубеж… туда можно пройти, выйти этим же болотом… Глаша…

– Какая Глаша? Постой! Глаша?! Как она туда попала? Так ты оттуда, с ней был?

– Бой когда начался, я был на поляне, Геринга искал, Глашу встретил, в лагерь не смогли пробиться…

– Где она? Жива?

– Да, – отозвался я пойманно.

Что такое, что произошло? Почему я не могу про Глашу с ним говорить? И с Глашей о нем последнее время тоже не получалось. Я опять про то, что отсюда по болоту можно пройти к *«островам»*, хотя это и далеко…

– Видишь, подставляют нам новый мешок, покрепче, – помолчав, говорит Косач.

Мы смотрим на ракеты, совсем близкие. Снаряды все падают в болото. Стукнет выстрел, эхо повторит его, потом рванет в темноте, и снова эхо подтвердит. Очень болят и слезятся мои глаза, все окружающее тает, расплывается в надоевшей радуге. А тут еще разноцветные ракеты пляшут, синий, красный, желтый свет, мерцающий, дрожащий, стекает по сыро белым телам осин, по заросшему сумрачному лицу Косача, по моим рукам… Я как в полусне. И разговор с Косачем, и это наше уединенное молчание – такое все нереальное, ненастоящее, невозможное. Меня бьет дрожь, хотя на мне снова солдатский китель и даже свитер, тоже немецкий. (Нашел на возу, когда уже под обстрелом расхватывали с телег трофеи, – забранный у немцев

обоз приходилось бросать.) Я все ухожу от реальности и только помню, что надо еще сказать про *«остров»*.

Мне все кажется, что плохо рассказал, объяснил и Косач не понял.

– Страшно, было? – внезапно спрашивает Косач. Синий свет на его уставшем заросшем лице сменился белым, красным, а я все про *«остров»* толкую, не могу сообразить, что меня про Переходы спросили.

– В Переходах, – возвращает меня Косач к вопросу.

– Женщины в окошко выбрасывали детей, а внизу под стеной солома горит, а туда падают дети… Из окошка руки – вот так руки… Матери, женщины руки тянут…

Я, как слепой, сам протягиваю руки с растопыренными пальцами, а по ним течет меняющийся, мерцающий свет. Косач смотрит на меня, на мои огненно окрашенные пальцы, и впервые на лице его я вижу такое – неуверенность, вопрос.

– Надо же мне было их послушать! Упросили, уговорили не трогать карателей в деревне. Чтобы людей не сожгли. Сами же Переходы, и дядька, и племянник, пришли просить. Сожгут семьи, если в деревне атакуем! Вот тебе и *«если»*!

Он словно передо мной оправдывается, Косач!

– Это у них уже сумасшествие! Не иначе! Не просто убить даже, а обязательно живьем сжечь, заморозить, голодом уморить! Обряд такой предписал им косой маньяк ихний, что ли? Ни одному небу не приносили таких жертв, как приносят теперь земным идолам – какому нибудь усатому ефрейтору. Тебя они жгли, а меня в сорок первом вымораживали. До последней, брат, слезинки. Земля как железо, голое поле, огороженное колючкой, и посередине сгоревшая кирпичная коробка. Бывший кирпичный заводик, что ли. Разбитые печи, ямы. И нас много тысяч. Лежат, кто где окоченел. В ямах, в мерзлых печах. По двое, по

трое, кучами. Не поделишься – не нагреешься! А кто еще мог ползать, загрузили собой кирпичную коробку. Доверху. Кто под низом, тот нагрелся, а кто нагрелся, тот уже задохся. У живых, как у мертвых, ледяные бороды от последнего дыхания. И последняя слеза, тоже ледяная. Да, брат, человека можно глубоко выморозить. До последней слезинки. Можно. Только сами потом не скулите!..

Он даже поднялся, когда произнес: *«…сами не скулите!»* Встал, удивленно взглянул на меня и вдруг усмехнулся, как закрылся. Будто заслонился своей неузнающеи усмешкой.

… И теперь у него та постоянная безадресная улыбка? В голосе была, когда поздоровался. Мне бы взглянуть на него, только взглянуть. На Глашу. И увидеть хотя б один раз Сережу. Сережу своего я помню голубоглазым: много раз видел такого во сне. Голубоглазого, светлоголового. А по рассказам Глаши знаю, что он черненький и глаза тоже темные. Увидев настоящего, если бы меня вылечили, потерял бы того, голубоглазого, светлого. Даже вот так можно терять!

Какие они вместе – Косач и Глаша! В их мире люди изменяются, стареют. А для меня они все те же. (Кажется, единственное преимущество иметь такого мужа, как я.)

А ведь мой Бокий чем то похож на Косача! Мне это только сейчас пришло в голову. Я никогда не видел лица Бокия Бориса, но так и видится на нем эта постоянная, адресованная бог знает кому, косачевская улыбка. Она в голосе, в словах Бориса.

Вот в чем дело! Вот почему мне в этом автобусе все припоминаются споры с Бокием, сопровождают меня. Вот в чем дело!..

Глаша после войны встретилась с Косачем. В сорок шестом, после возвращения из Германии. Косач

работал в райисполкоме в том же районе, где партизанил.

Много лет спустя, в пятьдесят третьем, Глаша мне рассказывала про их последнюю встречу. Она никак не могла объяснить (и это ее мучило, удивляло, даже сердило), чем так поразил новый, послевоенный Косач и что принудило ее уехать, уйти от него уже навсегда. Как в пушкинской *«Метели»*: *«Это не он! Не он!»* Мчалась к нему, столько мечтала о дне, когда свидятся, встретятся, – и в Озаричском концлагере, где валялась, тифозная, на снегу, и в Германии, куда ее вывезли немцы. А увидела: *«Не он!»*

Но это, по ее же рассказам, именно он, Косач, каким и прежде был, только обстановка совсем другая, и ей все по другому уже открылось. Одно дело, когда война, все зыбко, смерть, жестокость на каждом шагу, а среди всего некто самый твердый, уверенный в любом слове и поступке, такой властный и чуть таинственный, на все смотрящий с какой то непонятной, даже презрительной высоты. На все: и на плохое, и на хорошее. На всех и на себя тоже, потому что и себя всяким видел, знает, помнит. И в партизанах, и до партизан, в плену, а может быть, в довоенном: не обошло его и предвоенное.

(Возможно, я усложнил, усложняю Косача. Вон даже с Бокием сходство увидел! Но Глаша – ей было восемнадцать, да к тому же девочка, влюбленная! – она, разумеется, еще больше его усложняла. Просто отказывалась понимать, а только любила и мучилась. Бегала на поляну плакать. Придумывала себе в утешение что только могла, фантазировала, вон даже ребеночка прифантазировала на той поляне!)

А потом – совсем другое! – они встретились в сорок шестом.

По разному это время отозвалось в разных местностях, хотя голодное оно было везде: полстраны разорено, убито, сожжено, а тут еще страшная засуха! Но в бывшей партизанской зоне, где оставили Косача работать, все это имело особенную окраску. От

деревень остались только березы, да клены, да скамеечки возле заросших лебедой пожарищ и редкие кое где землянки. Ни машин, ни лошадей, люди сами впрягались в плуг, на себе пахали и бороновали.

Но к этому уже привыкли за войну.

К чему люди привыкнуть не могли, не хотели, не ожидали, что надо будет привыкать, так это к тому, что не будут помнить, что они вынесли, перетерпели в войну.

Это потом, позже стали наново припоминать все: приезжать на встречи, ставить памятники, писать, награждать.

В сорок же шестом, спрашивая налог, мало кто интересовался, из какой деревни. И есть, существует ли деревня, есть ли хата. И получалось порой по пословице: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую.

Как выглядел в этой обстановке Косач, когда от него уже не требовалось личной храбрости, холодной готовности к смертельному риску, но зато оставалась при нем его ироническая отстраненность от людей со всеми их постоянными и жестокими заботами, об этом я могу лишь гадать. Но именно в эту местность и к этому Косачу приехала Глаша.

– Стоит человек предо мной, сидит за столом, разговаривает по телефону или с плачущей бабой, кричит или усмехается, а у меня такое чувство, что я не туда, не к тому приехала. Все такое же, как было: лицо, руки, сильные плечи, даже китель тот же, только больше вытерся. Но нам обоим неловко. Ну представляешь: была ночь и человеку казалось одно, а тут вдруг день, светло!.. Я не могу это объяснить. Не он, и все! Но самое главное и обидное – я не знаю, я не помню, а какой же настоящий он. И в прошлом его нет. Есть громоздкий чужой человек. Это я помню. И чувство свое помню. Но раздельно то и другое. Что то в самом воздухе было разлито, окружало его, нас,

соединяло. Ушел этот воздух и – ничего… Ты вот все толкуешь про чужую боль. Было бы очень просто, если бы по твоему. Если бы тот, кто сам много испытал, если бы такой и другого человека ближе понимал. А то ведь бывает и наоборот, совсем наоборот! Делается человек – как вымороженный. Это Косач про себя хорошо сказал, только удивительно, мне даже теперь обидно, что со мной он ни о чем серьезном не разговаривал, а с тобой вдруг почему то… Вот видишь, вот и пойми нас, женщин. Нет, верно, вымороженный! Дом с выдранными окнами и дверями. В войну и такой дом – везение, вроде даже греет. Но всю жизнь в таком?! Это уже страшновато. Убежала я. Не посмотрела и на то, что вас, мужиков, на двадцать миллионов меньше, а нас на те же двадцать больше. Будет неправда, если скажу, что я обязательно о тебе тогда думала. Вспоминала, поплакала, когда сказали, когда прошел слух, что Флера Гайшун умер в каком то госпитале. И в снах тебя не раз видела, как мы спасаемся, пожары. Но все равно главное был он, вокруг него все. А тут собралась и уехала. Сказала, что мама больна (это правда, ноги у нее отнимались). Как он понял мое напоминание про маму, не знаю. И она мне никогда ничего не говорила… Не знаю. И боюсь все знать… Такой старой себя почувствовала, уставшей. Только и отдыхала, когда вспоминала про нашу с тобой поляну, лечилась этими воспоминаниями. А иногда очень хотелось его встретить, но одинокого, старого, неинтересного. Ну да это глупости женские…

Почему мне так хочется увидеть их теперь рядом – Глашу и Косача? В чем хочу убедиться? Что ничто не проходит у женщин? И вообще ничто? Так разве я это по себе не знаю! Вон как все давно отмершее, отсохшее чувствуешь. Начинает болеть. Так в тепле начинают болеть обмороженные пальцы. И чем меньше их ощущал до тепла, тем сильнее болят, оживая.

Меня Глаша так нашла. В пятьдесят третьем приехала поступать в институт на заочное. Мать после долгого мучительного лежания умерла, и она приехала. Вдруг видит, возле деканата Флера, живой! Не думай она, что

я умер в том госпитале, возможно, и не вскрикнула бы так, на удивление всему коридору, не бросилась бы на шею радостно покрасневшему молодому преподавателю. И не стерлись бы так сразу годы, прошедшие с того дня, как я уходил через болото, а она оставалась на *«острове»*, печальная, будто предчувствовала. Что потом произошло на *«острове»*, я от нее узнал в том же институтском коридоре.

Пять дней спустя каратели добрались и до *«острова»*. Когда вспользли, мокрые, вонючие, злые, на берег и начали строчить по всему, что пряталось или бежало за кустами, Степка Фокусник (он единственный из партизан мог на костыле передвигаться) отстреливался, а затем прискакал и сел среди раненых, подтащив к себе вещмешок с толом. Глаша с тремя малышами лежала в болоте за выворотнем и видела, как это было. Он прибежал, отбросил костыль, винтовку и сел. И к нему поползли раненые, а он их укладывал головами к себе, к мешку с толом. Глаша тоже хотела подбежать – вот вот из за кустов появятся каратели! Уже голоса их слышала. Но не могла поднять себя, так ей сделалось жутко. Особенно когда поползли к нему раненые, будто к спасителю, а он аккуратно укладывал их головы. Напоследок ее и Степки Фокусника глаза встретились. Он смотрел (Глаша всякий раз, рассказывая, плакала в этом месте) и как то странно улыбался.

– А может, мне показалось. К нему ползут, а он держит гранату на мешке с толом и смотрит на меня, будто просит помочь, не убирать взгляда, не прятаться, а чтобы я не боялась, улыбается мне… Я не выдержала, спряталась, и сразу – взрыв!.. Когда немцы тащили нас через *«остров»*, гнали всех, кого не убили, я еще раз увидела место, где были раненые…

Перед самой нашей женитьбой были мы с Глашей на Браславщине – поехали к озерам. Пока я растягивал палатку, она куда то пропала, а потом позвала меня незнакомым, изменившимся голосом. Я испуганно прибежал, а она сидит спокойно, обхватив загоревшие колени, и смотрит вниз – на остановившуюся вечернюю

красоту озера, окруженного желтыми березами, повторенными в воде, на которых словно горит еще день, и темными, совсем ночными елями.

Я всегда испытывал от красоты видимого мира чувство скорее мучительное, нежели радостное. Словно ты узкогорлый сосуд, в который широкой струей льют густой липкий мед: что то внутрь попадает, но больше по стенкам, снаружи... (Зато сейчас могу тоненькой, экономной струйкой цедить, сберегая каждую каплю. То, что собрано в сосуде, темном, навсегда закрытом, только то тебе осталось, и нового не будет. Переливай, цеди – из себя в себя...)

Глаша по своему расценила мое молчание.

– Скажи: не мешай мне, если сама ничего не делаешь!

И улыбнулась виновато, радостно покорно. Это в ней было новое, незнакомое, появившееся после войны: говорить за меня и притом всегда мне в облегчение, а себе в укор (*«Скажи: не хватало мне еще бабьих слез... Скажи: сама разбирайся со своим Косачем...»*).

А то вдруг начинала рассказывать про то, что было с нею после *«острова»*: про тифозный прифронтовой концлагерь возле полесских Озарич, про пятилетнего мальчика, который умер на мокром снегу:

– Он все утешал меня, я его грею, а он обещает: *«Приду домой и сделаю три печки, мамке, себе и тебе!»* А его мамка, застреленная, уже лежит возле колючей проволоки: хотела сучья собрать, чтобы обогреться... Ну вот, опять я... Скажи: не видел я войны!

Глаше все казалось, что она навязывает мне свои воспоминания, свои слезы, свое прошлое. А я заставлял ее понять, поверить, что это и мое прошлое, и мои воспоминания, все это наше. Постепенно она в это поверила, но, поверив, как это бывает у женщин, сразу пошла дальше. Теперь ей уже казалось, что любила она вовсе не Косача, а меня, но я сам своей дурацкой влюбленностью в командира и своей убежденностью,

что любить она может только его, только такого, одним словом, это я мешал ей разобраться в самой себе. Да и вообще мог бы больше походить на Косача! Только чтобы не такой бесчувственный…

Я не выдерживал – так искренне она упрекала меня, с таким сознанием своей правоты и моей вины – и начинал громко хохотать. Глаша сердилась и обижалась еще больше:

– Ну что ты радуешься, как Флера на тачанке! Из за тебя я столько перемучилась. А из за кого же?

– Ага, чтобы глаза Акулины Ивановны да к фигуре Николая Федоровича…

– С тобой невозможно разговаривать серьезно!

Что сейчас она чувствует, что в ней, когда оба мы здесь, я и Косач? Первоначальное напряжение, когда она, пожалуй, сама еще не знала, как воспримет эту, такую ситуацию, прошло. Она уже по другому и сидит, и с Сережей разговаривает. Обыкновенно, по домашнему. А на лице ее, скорее всего, то наивно спокойное выражение, с каким она тогда, во время блокады, уснула, прислонившись к дереву: а, сами разбирайтесь с этой войной, с этой смертью! Ей надоело. Сами разбирайтесь, если вы такие… Но какие мы – мы с Косачем, – если видеть ее глазами? Я не раз улавливал в ней раздражение против нас обоих. Уже против обоих. Да, Косача вроде не существует для нее, даже удивлена, что было, могло что то быть, но и мое, флеринское, ее часто раздражает.

– Хорошо быть Флерой, но не до такой же степени! Тебе уже не семнадцать. Сколько можно уступать каждому? Так и будут всю жизнь кататься.

Уже не к Косачу, а к третьему кому то ревнуй, который не такой, как Косач, но и не такой, как Флера. К ее будущему чувству. В них, в женщинах, оно всегда живет, это *«будущее чувство»*. Как завтрашняя, а не только сегодняшняя мера человека, человеческого. И

для этого самим женщинам вовсе не обязательно быть лучше нас. Просто им отдано это на сохранение. И куда бы жизнь ни устремлялась, измеряем мы себя, проверяем, любим или презираем все таки женским взглядом…

Ночью отряды двинулись в глубь болота. Зарева горящих лесов, на которые уже переползли пожары, желто отражаются от низких, бегущих навстречу нам туч, ложатся на воду, под ноги нам, придавая всему еще более стремительный, тревожный темп. Отстанешь – нагонит, побежишь – напорешься! Мы уходим от карателей – навстречу им. И чем отчетливее это чувство, тем упрямее мы спешим на другой край болота, где, наверное, уже передвигаются, растягиваются батальоны и засады, поджидая нас. Хлюпанье по грязи, всплески, злые или нелепо веселые вскрики, тяжелое дыхание – все кажется нескончаемым, неизвестно когда начавшимся, не имеющим конца. Твои и чьи то руки встречаются, хватаются, сцепляются или испуганно отталкивают друг друга и – вперед, вперед! Раненых несем, толпясь возле носилок и одеял по шесть, по восемь человек, до боли вцепившись пальцами, ногтями в сукно или брезент. Нужно как можно выше держать, но вдруг пропадает всякое дно под ногами, и тогда люди кидаются в одну, в другую сторону, удерживая ношу и как бы цепляясь за нее. На помощь бросаются те, кто поближе, и начинается словно бы схватка, борьба – с кряхтением, вскриками, ругательствами.

Лица, глаза раненых среди всего этого поражают неподвижностью, даже безразличием, за которым отчаяние и стыд, беспомощность, обида за свою неудачу. Но и среди раненых есть свои *«веселуны»*.

– Тащи, братки, невод! Уха будет.

Меня сменили возле носилок одеяла, но тут же в лицо мне заглянул Костя начштаба, не узнал, конечно, но приказал:

– Помоги охране. Тащим еще фрицев зачем то! Черт знает!..

Мы их, и правда, зачем то гоним перед собой и вроде понимаем, зачем, почему, но по очереди поражаемся: *«Черт знает что!»* Я нашел их там, где голоса громче, резче. Здесь и Переходы – дядька и племянник. Они самые молчаливые в охране.

Дико видеть, как каратели стараются спастись от болота, как барахтаются, тянутся к чахлым деревцам и кочкам, хватаются за партизан, даже за Переходов, друг за друга, точно не понимают, что они уже мертвецы. Но, очевидно, не верит в это никто, пока жив. И потому ведет себя человек порой очень странно, нелепо, если смотреть со стороны.

Я не сразу узнал своего бритоголового врага, так вымочалило карателей болото, а этот еще без очков, как слепой. (Обезьяны уже нет при нем.) Несколько раз мы оказывались рядом. Но, странно, я точно стесняюсь чего то. Не хочу, чтобы он узнал меня теперь, когда мы один на один, а не в толпе партизан, где я громко добивался, чтобы он увидел, разглядел, узнал меня, спасшегося из убитой им деревни. Не зря я так протестовал, так ненавидел с самого начала эту их беспомощную покорность, послушную старательность. Они точно заранее знали, ожидали, что во мне появится эта неловкость от сознания полной власти над чьей то жизнью и смертью. Неловкость, которой в них самих, помнится, не было.

Я следую за своим главным врагом как привязанный, стерегу, как из засады, но близко, глазами встречаться мне не хочется.

Вдруг угрожающе колыхнулась в желтой темноте обманчивая поверхность, на которую он ступил. И тут же, по бабьи вскрикнув и взмахнув руками, он провалился. Сначала появились пальцы, растопыренные, тянущиеся, потом выкатилась голова и осталась, как отрезанная, на подрагивающей поверхности твердого мха – без лица, без глаз,

оплетенная тиной, точно внезапно обросшая.

– Эй, помоги тому, не видишь! – крикнули мне. Неустойчиво держась за низенькую корягу, я подал ствол винтовки, тронул им шевелящиеся пальцы. Они сразу бросились к моей винтовке, я едва не отдернул. А он уже всей тяжестью повис, стаскивая и меня с качающейся кочки. Будь это палка, а не винтовка, я уже выпустил бы ее из рук. А тут мы словно боремся за винтовку, вырываем один у другого. Я подтащил к себе оплетенную водорослями, тиной голову, дергающиеся плечи, руки моего врага, он схватился за корягу, за меня, жадно, испуганно, слепо. Я уже отталкиваю его, отрываю от себя, кричу свирепо:

– Ну что, так и будешь? Пошел, гадина!

Грязь оплыла с бритой головы, и уже видны глаза, близкие, безумные от испытанного ужаса! И как бы узнавшие меня.

И тогда я, рванув винтовку в сторону, клацнул затвором, но не удержался и сам схватился за его плечо. Схватился, схватил и, сверху, глядя в желтые от далекого зарева глаза, кричу:

– Ты, фашист, смотришь, вылазишь, гадина, жить, да, жить?!

Я выкрикиваю ему приговор и не могу пробиться сквозь бессмысленно испуганные глаза старика с грязной головой. Передо мной эти глаза, а мне нужно, раз уж мы так близко и сейчас я убью его, я хочу увидеть того, кто стоял возле машины, сидел в машине…

Он, видимо, поняв, что это смерть кричит, рванулся в сторону и снова провалился по пояс. Я бросился за ним, прямо на него бросился. Теперь я толкаю, гоню его, вытирая свои слезящиеся глаза, именно его гоню, и он знает, что это я, что я есть, что я все время иду следом. Он близоруко оглядывается, как бы ищет меня. Теперь он знает, кто его хозяин, его жизни и смерти хозяин, и это как то странно на него подействовало: он еще

старательнее, уже как бы специально для меня спасает свою жизнь…

Наконец мы выбрались на залитые водой предболотные луга. Моросит утренний дождь на наши разгоряченные лица, дымящиеся паром шеи, руки.

Пытаемся, не снимая сапог, вылить из них желтую воду. Со стороны это выглядело бы как странная утренняя зарядка: огромная измученная толпа людей, стоя среди мокрого луга, занята тем, что каждый, хватаясь за соседа, по птичьи поджимает назад ногу или выпрямляет ее перед собой. Те, у кого не сапоги, а сыромятные коровьи постолы или, еще лучше, лозовые лапти, устало нахваливают свою обувку, в которой ничего не задерживается, – ты и обутый и босой в одно и то же время. Налетай меняться! Но охотников меняться с ними и даже поддерживать усталую трепотню не находится.

Человек триста стоят среди луга в неглубокой воде, безнадежно мокрые, измочаленные, держат носилки. Посматривая друг на друга, как на свое отражение, смывают грязь с одежды, с лиц, полощут в воде кепки, пилотки. Пытаются стереть черноту с лиц раненых, если те не могут сами.

И каратели умываются нерешительно, молча.

На воде огромными зелеными шарами кусты лозняка, похожего на копны сена, хоть садись на них! И пока впереди какая то задержка, многие пытаются отдохнуть, сесть, а не получается, так лечь животом или спиной, распластавшись. Уже смех слышится, усталый, невеселый.

Карателей мы собрали к одному большому лозовому кусту, и они тоже прислонились к нему, покачивающемуся, потрескивающему. Уже не по ночному, а по утреннему видятся лица, а это совсем другое. Утро после трудной ночи подчеркивает в любом человеке усталость, но также и облегчение, что это кончилось, минуло. Каратели умываются уже смелее,

старательнее, было бы чем – зубы чистили бы: одной рукой, ладонью зачерпнет воду, еще раз и еще раз, и все это как бы неспроста. Они готовятся жить еще один день и словно бы осторожно спрашивают нас, стоящих с оружием напротив, или убеждают нас…

Мой враг аккуратно обмывает голову, снова гладкую и пятнистую, как плохо покрашенное пасхальное яйцо; близорукие глаза его кого-то ищут, все кажется, что меня. И словно бы с надеждой какой то. Среди общей, безликой ненависти он почуял личную, мою, пусть тоже ненависть, но за которой определенный человек. Вместо того чтобы бояться меня еще сильнее, он, пожалуйста, ищет меня! Все таки у него тут знакомые! Я не позволяю его беспомощно плавающим глазам зацепиться за мое лицо, пропускаю мимо, не признавая. Не хватало, чтобы я и на самом деле стеснялся вот так сурово, беспощадно стоять перед ним, грязным и смиренным! Не ищи, не найдешь, не дождешься!..

Среди *«не немцев»*, которые держатся подчеркнуто особняком, заметнее всех кадыкастый переводчик. И не только рост его останавливает внимание, но и выражение какой то постоянной бессмысленной хитрости на лице. Он потерял свою кепку с длинным козырьком, отличавшую его от немцев, и это его очень беспокоит, был даже момент, когда он снял кепку с головы земляка соседа будто бы для того, чтобы погреть голову, но тот спохватился и забрал назад. Все пытается с нами разговаривать:

– У ух, устали! Какие тут болота!

Посмотрел с коротким испугом: не перебрал ли? И тогда сообщил, что *«дождь теперь ни к чему, самая уборка, жатва»*.

– Но зато помоет нас.

Как хитро он подчеркнул это общее *«нас»*.

– Заткнись! Ты! – не выдержал кто то, и переводчик испуганно сжался, но тут же перевел своим, подал это,

видимо, как общую команду. Каратели, пошевелившись, замерли.

Подходят еще партизаны. Что то притягивает сюда. В побуревшей от грязи *«венгерке»* с зализанно мокрой опушкой по бортам, держа автомат под локтем, подошел Косач, мрачно усмехнулся соседу – усатому командиру:

– Долго трофей свой будешь таскать?

– У тебя есть люди из Переходов, вот и забирай, решайте.

Косач смотрит на карателей вроде бы очень спокойно, как то издали, но переводчик не выдержал, напомнил:

– Мы не немцы!

И показал на кепки (и на свою непокрытую голову тоже).

– Серьезно? – удивился Косач. – Ну, а с ними что делать? С твоими хозяевами?

– Они заслуживают казни, – четко и громко сказал переводчик.

– Вы это и проделаете сейчас. Раз им служите!

Косач несколько раз мельком посмотрел на Перехода старшего, неподвижно стоящего перед карателями. Взгляд был какой то сверлящий: так ли, то ли он, Косач, делает, собирается сделать? И потому не по косачевски вопросительный. Однако было в этом и что то очень косачевское, недобро испытующее. Испытующее, но с заранее известным ему ответом.

– А ну ка дайте этим винтовки.

И все таки мы его не поняли.

– Без затворов, – внезапно раздражаясь, пояснил Косач.

Заклацали затворами. От этих звуков каратели

задвигались, осели, куст у них за спиной задышал, затрещал. Но ужас, настоящий ужас перекосил их лица, глаза, когда каратели немцы увидели, что винтовки передают их соседям в чудных кепках. Откуда то прибежал Столетов, точно боясь опоздать. Он не видел, как и что тут происходило, глаза косят испуганно и жадно. Он не понимает, почему винтовки в руках у карателей. Переступает с ноги на ногу, проталкиваясь поближе к *«не немцам»*. А за спиной у него вещмешок. – шевелящийся, дергающийся, живой. Я не сразу понял, а понял – тут же забыл и про Столетова и про его вещмешок, чтобы вспомнить и долго помнить потом, когда все кончилось. Вот где, оказывается, объявилась обезьяна с плеча главного убийцы – Столетову ее всучили тащить. Будто нарочно. Летописцу как раз. Живой, дергающийся, дышащий мешок, и сам Столетов тоже подергивается, переступает с ноги на ногу…

Кто то крикнул:

– Давай меси, раз мясники!

Четверо *«не немцев»*, завороженно слушая тихие, вполголоса, команды своего переводчика предводителя и беря винтовки за ствол, отступают от других карателей, приседающих, вжимающихся в лозовый куст, который весь ходит, дышит, раскачивается. И эти с винтовками палками тоже тихонько, подстерегающе раскачиваются, переступая с ноги на ногу и взвешивая дубинную тяжесть прикладов. Примериваются и все переговариваются по своему, тихо и быстро перекликаются. Переводчик, резко крикнув, внезапно бросился к моему врагу. Взлетевший над бритой головой приклад, короткий, пусто гулкий хруст удара, тут же заглушённый совершенно заячьим криком немца коротышки, на которого набросились сразу двое!..

И автоматная очередь! Неожиданная, резкая, все перечеркнувшая, как облегчение, спасение.

Двое карателей с винтовками и несколько немцев, неловко хватаясь друг за друга, за куст, оседают в воду.

Отзвучала очередь, унеслось эхо, а они все хватаются друг за друга, все падают. У переводчика лицо незнакомо расслабленное, не лживое. Постоял, низко опершись о винтовку, и вдруг круто боднул головой землю, грязь.

– К черту! К черту! – кричит Переход. Это он стрелял. – Всех к черту!

И тут отчаянный стон крик за кустами:

– Стой! Что делаете? Вы! Что делаете?

Мы бросились в сторону, за куст, такой это был крик! Переход младший стоит на коленях и будто что то ищет в воде, рассматривает в грязи, все ниже и ниже наклоняет голову, лицо. А партизан, который кричал, яростно смотрит на нас и тянется к нему руками, не то указывая на него нам, не то желая подхватить, поднять. В черноте, в грязи плавает, быстро расползаясь, темно красное пятно с синеватым отливом. Прижатая к фуфайке, к животу рука Перехода младшего страшно пламенеет кровью.

Переход старший оглушенно смотрит на это. Шагнул к карателям, схватил двух – немца и *«не немца»*. От его тяжелых рук они свалились, но он вздернул их на вялые ноги и ударил друг о друга, и еще, еще, с каждым разом слабее, но все с большим отчаянием и криком:

– Проклятые! Проклятые! Проклятые!..

… И мы побежали дальше, навстречу еле видимым в утреннем свете немецким ракетам. Мы все еще надеемся проскочить в большие леса, не охваченные блокадой. Это устремление сотен людей к выходу, который уже закрылся или вот вот перекроется, было также бегом от того (но и навстречу тому), что случилось возле копен кустов лозняка и как бы все еще продолжалось. Как только мы остановимся, снова произойдет, вернется это. Но куда уйдешь, убежишь,

если впереди нас поджидают такие же каратели, как и те четверо уцелевших, которых мы гоним с собой?.. *«Рама»* уже зависла над нами, то поднимается, то падает ниже, редкие кустики не могут нас спрятать. Мы снова под следящим сверху взглядом. И уже чувствуем – точно тени видим, – как впереди, куда мы бежим, передвигаются немецкие батальоны, перемещаются засады, поджидая нас.

Кончилась под ногами вода, потом черная как деготь, старая, подсыхающая грязь, и наконец мы на сухом, на удивительно сухом торфянике. Тут будто и дождя не было, только побрызгало немного как бы ради солнечного блеска да воскового и пряного запаха торфа и багульника. Не осталось сил отмахиваться от короткозадых кусачих слепней. Зато нет уже полесских комариных туч: осень смахнула их, хотя еще и холодов не было. Лежишь на земле распластавшись и всем телом ощущаешь, какая она мягкая, легкая, вся из трав и запахов. Высокие высохшие кочки купины вкусно и зовуще темнеют поздними ягодами – крупными синими буяками[4]. Люди так вымотались, что лишь смотрят на ягоды, облизывая пересохшие губы, нехотя переговариваются (*«Голова от этих буяков болит, если много»*, *«Ну ка подай!»*, *«Спешу!»*). Но уже пристраиваются к аппетитным купинам, словно к столу подходят, подползают, а иной, как бревно, подкатится – и так ему хорошо и даже не надо вставать! Вот уже разобраны расхватаны самые роскошные купины, из сумок галеты немецкие достают, о воде говорят.

– А чайку не хочешь?

– Надо было хлебать, не зевать, когда по бороду было.

Ягодами угощают раненых, которые в состоянии есть. Их много, слишком много, раненых. Некоторые без сознания, бредят, вскрикивают, а те, у кого глаза открыты, смотрят в низкое небо, где назойливо, ищуще гудит *«рама»*. Раненые знают, куда, навстречу каким боям мы несем их, беспомощные, полностью зависящих от рук, от ног, от смелости и слабости других…

Среди них и Шардыко – наш комиссар. Когда отряд вырывался из блокады, его перерезало по поясу пулеметной очередью. Но он все еще живой, хотя и без сознания. Несколько раз, я видел, подходили к его носилкам Косач и Костя начштаба, сопровождаемые подвижным кругленьким Филипповым. Отрядный медик виновато называет какие то лекарства, уколы, которые необходимы и которых у него нет.

На землю не садится, не отдыхает, кажется, один Переход. Огромный, в негнущемся брезентовом плаще, стоит над носилками, на которых тяжело дышит мертвенно бледный его племянник. Переход смотрит на раненого со странным, каким то отрешенным удивлением. Что то очень тревожащее в его позе – вот вот сделает человек неожиданное и страшное… Возле ног его над бредящим молодым Переходом сидит девочка, рот ее набит ягодами, измазан, на щеках слезы. Она снова плачет, девочка из Переходов.

В карателях, уцелевших, чго то изменилось. Они сидят плотной кучкой, опустив глаза. Укоряющее что то в их позах, в этих обиженно опущенных взглядах. Их дисциплинированность, их смиренность не оценили партизаны – в этом они уже убедились. Но они, несмотря ни на что, останутся такими же. Нам в укор. Может, и не это у них в голове было. Но позы, выражения были такие. И теперь они не сторонились друг друга, двое немцев и двое *«не немцев»*. Может, потому, что их осталось мало. Но все таки странно, что случившееся возле куста не развело их окончательно, а как бы даже наново сблизило…

Уже поотрядно, повзводно, отделив людей, у которых руки связаны ранеными (они особняком, позади), мы движемся по высохшему болоту, готовые сразу развернуться к бою. Старые, заросшие желтобурой осокой канавы, кучи барханы слежавшейся торфяной крошки, ржаво черные и лишь кое где покрытые травяной зеленью, – конца этому нет. До войны тут торф заготавливали. Земля пружинит под ногами, ощущение, будто по подвесному мосту идешь. Не

сантиметры, а метры торфа в глубину! Молодой партизан (в Переходах не побывал, глаза не болят, не слезятся, как у меня!) вдруг подпрыгнул как укушенный и опнул на землю коленями.

– Как матрац, братки белорусы!

На него смотрят одни с удивлением, другие с неодобрением – на человека, которому еще охота поиграть. Рассуждают:

– Сюда огонек – полгода тлеть будет.

– Там уже горит, видите.

Над далекими торфяными буртами висит нежный голубой дымок, мягко растворяющийся в низком сыром небе.

Мы увидели людей. Сначала детишек, бегающих среди торфяных барханов. Совсем близко перед нами из за черно зеленой торфяной кучи вышла босоногая женщина, прошла несколько шагов, но вдруг заметила нас и быстренько назад, спряталась. Исчезли и дети.

За нами, кажется, наблюдают. Но вот снова вышли из укрытий женщины, детишки. Их появляется все больше. И лишь несколько мужских бородатых лиц. В плотно осевших, поросших травой торфяных холмах чернеют дыры – входы. Целая деревня, наверное, прячется в этих норах.

– Хлопчики, так напугали вы нас, так напалохалися мы! – заговорили сразу несколько женщин нам навстречу. – Вчера немцы или эти *«днепровцы»* ихние проходили, только тем краем. Нас не заметили. А тут, думаем, ну все, прямо на нас!

– Много проходило? – спрашивает усатый командир.

– Да много! Мо раза в три больше, чем вас тут.

Партизаны засматривают в неглубокие торфяные норы: темно, под ногами валяются одеяла, подстилки, у

входов чугунки, ведра.

– Что, и не обрушивается?

– За ночь – хоть откапывай нас! И в рот и в уши наберешь. Зато от дождя.

– Вы голодные, хлопцы?

– А что у вас, тетки, есть?

– Ведомо што! Печеная бульбочка. И щавель кисленький. Он у нас заместо соли.

– На этот раз мы вас угостим. У немцев одолжили, – говорит усатый командир. – Где там наш начхоз?

Но и от печеной бульбы никто не отказывается. А она тут доходит быстро, и сколько хочешь засыпай в жар – в раскаленную торфяную яму. В земле как бы провал образовался, беловатый, зольный, дымящийся, – продолговатое пятно шагов на пять. Каждому любопытно измерить глубину горящего торфа, тычут шестом, палками. Дым горький, ядовитый, особенно для моих глаз. Но и мне хочется взглянуть: вроде обыкновенный огонь, жар, но что то в нем грозное, зловещее, в этом пожирающем самую землю огне.

– Зачем вы так близко разожгли, теперь не потушите, – говорим мы хозяевам, – глядите, поползет огонь под вас.

– А бог его ведае, кто подпалил! Лежит, лежит и загорится, – убежденно возражают женщины. – Как порох, сухенький! Воды тут и не найдешь, к болоту ходим за водой. А еще мины эти, ракеты стреляют, чего же хотеть! Горит все.

– А туда, к лесу, где с весны горит, совсем не подступиться, – вмешался старик, который кочегарил у ямы. – Вчера дети увидели дика, кабана, значит, побежали наши, погнали его на огонь. А подойти не смогли. Не держит. Дожди все были, так оно там тлеет, а сверху корка. Стал – и пропал! Шухнул кабан – только

искры. Можа, метр, а можа, и все три! Готовая смажина, да не достанешь.

– Бабы, а можа, яно под нами ужо, сюда огонь дополз? А што, проснешься утречком, а уже спекся!

Смеются женщины. Есть предел беде человеческой, за которым слезы уже иссыхают и когда человек и жаловаться уже не может…

Нам нужно именно туда, где стелется над горизонтом, изломанным торфяными горами, зловещий голубой дымок. Где то надо обойти этот дымок, этот земляной пожар.

Усатый командир остался со своим отрядом, со своими ранеными, не решился идти дальше, уходить от болота. Косач с ним долго о чем то договаривался или спорил. Я слышал, как сказал Косте начштабу, когда мы уже двинулись:

– Довольно, что я там их послушался! В Переходах.

Даже сейчас трудно сказать, кто был прав, усатый тот или наш командир. Но, как всегда бывает при таких тревожных и неопределенных ситуациях, малейшее колебание наверху сразу помножается на беспокойство многих, превращается в настоящую, в большую тревогу. Главное, что у нас на руках почти два десятка раненых!

Этот бой начался непонятно, а оттого зловеще…

Мы уже прошли километра четыре, но все никак не можем минуть горящую полосу торфа на горизонте. Несколько раз приближались к ней. Косач и сам ходил смотреть. Возвращаются те, что ходили, возбужденные и немного растерянные.

– Ну, братцы, тихий вулкан!

– За полкилометра земля теплая!

Наконец далеко впереди мы увидели лес. За дымным маревом не разглядеть, сплошной он или это только

клочок леса, но все равно лес, а не эти опостылевшие зелено рыжие *«барханы»* да разбегающиеся во все стороны чахлые сосенки. Люди заходятся от кашля, поразъедало всем глотки. Трут глаза. А для моих, засыпанных, так и вовсе беда этот торфяной чадный ветерок. Все вокруг меня плывет, окрашено горячей радугой. Сильно поташнивает. Но впереди лес, настоящий, живой, и скоро кончится эта отвратительная, черная, грязная, рыхлая, мягкая, дымящаяся подушка, взойдем, ступим на настоящую землю. Такое чувство, что вообще вернемся откуда то на землю.

Раненые сзади. Уцелевшие каратели идут с нами, с боевой группой, все еще защищаемые нашей к ним оглушающей, связывающей ненавистью.

Дозорные уже подходили к лесу, когда ахнули мины перед нами, сбоку, сзади…

Все залегли, пережидая самые неопределенные первые минуты боя, такого неожиданного. Земля вздрагивает мягко, по живому, а черные лапины взрывов тут же начинают сухо тлеть, дымиться.

Странно, что ни пулеметы, ни автоматы не бьют, одни лишь мины нащупывают нас. Откуда же нас накрыли?

Команды все нет, это всех нервирует. Только бы не сорвались, не побежали! Вон уже кто то подскочил, бежит.

И еще двое или трое. Ничего нет хуже этого! Бегут вправо, к торфяным кучам, которые, когда лежишь, с земли представляются спинами допотопных зверюг, затаившихся, теплых. Воздух над ними дрожит, струится…

Раздались вдруг выстрелы, автоматная очередь. Один упал, а трое побежали еще быстрее, согнувшись, петляя. Это же пленные разбегаются! Каратели!

Показалось вначале, что его миной накрыло – самого

первого из бегущих. Столб искр на том месте, где он только что был. И тут же исчез, как провалился, еще один, бежавший последним. Да это же они проваливаются в горящий торф! В напитавшуюся жаром раскаленную землю!..

Тот, что оказался посредине, застыл на месте, потом завертелся, и мы услышали, как он не закричал – завыл в нечеловеческом ужасе…

– Первая рота остается здесь, первая рота! – кричит Костя начштаба, пробегая перед нами. И тут же громкий голос Косача, прорывающийся из за взрывов:

– Вторая рота! Вторая рота, за мной!

Он бежит к кустам, взмахивая автоматом.

Вот оно, то мгновение, когда все, что было, есть и будет, заглядывает в глаза тебе: *«Готов?»* Не пропустить его, не уступить!..

Я вскакиваю и бегу за Косачем, за Переходом, за теми, кто впереди меня. Люди поднимаются из под взрывов и бегут на невидимого врага. Мягкая пружинящая земля по живому участвует в нашем беге, она как бы наклоняет нас вперед. Мы несемся в низинку, огибая лозняк. Слева плавающий в дыму, в голубоватом чаду, изломанный торфяными горами горизонт; справа этот зеленый, густой, как стена, лозняк. А впереди, где то за краем лозняка, невидимые еще враги, которые нас забрасывают минами. На многих лицах бегущих рядом со мной людей, разгоряченных или устало посеревших, недоверчивое и тревожное любопытство к тому, что мы сейчас делаем. Мы бежим, а не залегли, не дожидаемся, когда немцы откроют себя, когда они появятся, не стараемся хотя бы выяснить, где они и сколько их, откуда они нас обстреливают. Вместо этого мы бежим туда, где ждет, может быть, засада или ловушка. Но поскольку мы делаем это, хотя и сами удивлены, а наш бег такой злой, безоглядный, на лицах наших, в тяжелом дыхании, в незвучном мелькании ног, в напряженных плечах, шеях, в разведенных локтях – во

всем растущая уверенность, что вот сейчас мы навалимся, сомнем врагов, не ожидавших, что так вслепую, рискованно мы бросимся вперед.

Грузно, тяжело и впереди всех бежит Переход старший. В его бесформенной и каменно серой от брезента спине, в набыченной голове, в густом дыхании одно – добежать, добраться наконец, освободиться от самого себя, невыносимо злого, бессильного перед своим закаменевшим гневом.

Мы огибаем бесконечный, все не кончающийся лозняк, и все нет тех, до кого мы стремимся добежать, добраться.

И тут увидели: две минометные трубы, наклоненные в нашу сторону, стоят возле кустов. Брызнула автоматная очередь – это Косач. Мои глаза, замазанные болью, тоже выхватили что то мелькнувшее впереди. Я не целясь выстрелил туда. Выстрелы ударяют, рвут воздух сзади, сбоку. Один Переход бежит, не поднимая автомата, не стреляя.

Кусты выпрямились стенкой, и мы увидели их – пятерых или шестерых убегающих. Они так торопливо и беспомощно пытаются забежать за неблизкий край лозняка, особенно один из них, отставший, коротконогий, с отвисшим задом немецких солдатских штанов, что все вдруг окрашивается каким то жестоким весельем. И самое нелепое – от едкой гари, от бега и они и мы кашляем. Бежим, на ходу стучат поспешные выстрелы, вот вот начнут падать убитые, а они, а мы не можем удержаться от самого простого – от надсадного, мешающего кашля.

Они почему то не бросаются в кусты, а все бегут перед нами, видя, наверное, только край лозняка, который их закроет от нас, от наших выстрелов. Чем ближе этот край, тем резче, торопливее стрельба. И вот уже, как разваливающееся что то, по одному падают: направо, назад, налево. Двое все таки заскочили за лозняк. А самый последний из убегающих, старательный, неловкий толстяк, еще успевает оглянуться: глаза,

перекошенный рот человека, видящего свою смерть…

Косач, прострочив по нему, тоже оглянулся предупреждающе, строго, чтобы не задерживались возле убитых. Переход бежит, не замечая упавших. Те, кто ему нужен, впереди, ему нужны живые, живые…

И вот они снова, оставшиеся двое. Сначала мы их услышали: их надсадный кашель, как слабое эхо, отзывается на наш, в десяток глоток кашель. Снова выпрямился лозняк, и снова они перед нами, открытые, обреченные. Оглядываются.

Один тут же выпустил из рук винтовку и наконец нырнул, вломился в кустарник. А второй все бежит прямо, хотя видно, что сам он чувствует, сознает, что это его последние шаги.

Переход перечеркнул его короткой брезгливой очередью и пробежал дальше, даже не взглянув на убитого. Нет, раненого. Как после пронесшегося над ним танка, раненый зашевелился и, не поднимая лица, пополз нам навстречу. А руки, окровавленные пальцы, которые он словно разглядывает пристально, так дико похожи на гусиные лапы…

Он прополз и замер в трех шагах от меня, согласившись, что да, убит!..

А мы бежим следом за Переходом, Косачем, облитые потом, и никак не можем освободиться от нелепого кашля, бежим, как бы точно зная, что не эти главные, что главное – впереди.

– Власовцы, сволочи! – крикнул кто то запоздало про убитых. Я оглянулся и увидел, как партизан, на миг задержавшись, перевернул тело толстяка и выдернул из за его пояса длинную гранату. А ведь и правда, винтовки у них не немецкие! Да и мундиры вроде пожелтее…

Мы еще раз огибаем лозняк, оставляя выбитую не нами дорожку левее, она ушла из под ног в задымленные,

горящие торфяные дали.

И тут мы увидели: из за лозняка нам навстречу выбежали люди в зеленом, немецком. В касках, с автоматами!.. И в этот же миг из лозовой чащи вырвался, вывалился назад недавно нырнувший туда власовец и побежал навстречу немцам перед нами. И он и мы несемся, как с кручи и будто над острыми камнями. Сознаешь, как бывает во сне, что надо остановиться, пока не совсем поздно, но уже не в силах сделать это, не можешь и даже боишься: пока бежишь, все продолжается, как только остановишься, потащит тебя, покатишься по острым камням, поливая их кровью...

Скрипнула автоматная очередь, наша, не наша, еще и еще. Немцев выбежало из за кустов десять, не больше, а мы открыты все, вся сотня, если не полторы. И что то неотвратимое есть в нас, несущихся прямо на них (мы это сами чувствуем, сознаем, как бы видим себя!), потому что немцы, вместо того чтобы залечь и в упор расстреливать нас, метнулись туда, сюда и вдруг, повернувшись торопливыми спинами к нашим выстрелам, побежали.

Я невольно оглянулся на нас, на нашу силу, которая так подействовала, так смяла этих немцев. Мне и радостно, и страшно. Гнать их, гнать!.. Это недолгие, уходящие минуты (ты это сознаешь), потому что наступит миг, когда кончатся и эта погоня по пружинящей торфяной земле, и это чувство. Наш разгон будет продолжаться, но уже как у сорвавшегося с кручи: по острым, по ловящим тебя, твое тело камням!..

Переход все несется вперед. Остальных я только чувствую рядом, позади, а его вижу. Глаза мои, заливаемые слезой, больно вцепились, держатся за него, как за что то самое главное и последнее, что осталось от меня на всей земле. Я невольно повторяю его движения (не то на самом деле, не то лишь мысленно, лишь в глубине собственных мышц), все больше сливаясь с этим тяжелым, огромным человеком, закованным в бесформенный, каменного цвета брезент.

Медленно медленно (как бы раздумывая!) Переход поднимает автомат двумя руками, как тяжелый молот, над каской невысокого немца, бегущего прямо перед ним. Медленно поднимаются локти, руки… Но чья то пуля выбила немца из под автомата Перехода, отшвырнула в сторону. Переход, не взглянув туда, настигает уже следующего. Кажется, что он (что ты) не способен остановиться, пока живой, пока сам не упал, будешь вот так бежать вокруг леса, пока кто то есть впереди.

Немцы, которых мы настигаем и расстреливаем на бегу, все пытаются обогнуть лозняк, закрыться им, а мы не знаем, что, кто там впереди, может быть, лежат уже, дожидаются нас с пулеметами…

Глаза мои совсем плывут в горячей радуге – синее, оранжевое, красное! Все смазано, расплывается, и я держусь, вцепившись взглядом, за темную фигуру Перехода, как за саму реальность.

Я не знаю, сколько длился наш бег, сколько времени сжималась пружина под нашим внезапным напором. Но помнится дикое, неразумное облегчение {как у переставшего бежать, все разгоняясь, с каменной крутизны и наконец покатившегося!), которое острым холодом полоснуло душу, когда мы выбежали на открытое место и сразу увидели перед собой ждущую, залегшую за торфяными кочками неподвижную немецкую цепь. Каски, каски, каски…

Но Переход не останавливается, не падает, и это меня удерживает на ногах, хотя все во мне сразу каменно отяжелело.

– Ложись! – крикнул Косач, но тоже не падает, ему тоже мешает сделать это Переход. А Переход еще быстрее побежал, отрываясь от нас, от падающих один за другим партизан. Ни стрельбы, ни голоса человеческого – немая тишина, уходящая, падающая в невидимую (но она рядом!) пропасть.

Уже на земле, лежа, я ощутил, как что то пронеслось

над нами, будто поезд, срывая с нас воздух, срывая меня с земли, заставляя жаться к ней. Поезд все несется, нескончаемый, низкий, широкий, над самой головой, над моими плечами, вот вот зацепит, поволочет, искромсает – пулеметы и автоматы просто воют! Когда я оторвал голову от пахнущего гарью торфа и глянул сквозь плывущую радугу, Переход все еще был здесь, хотя, казалось, целая вечность пронеслась. Но он уже не бежал, он стоял и медленно разворачивался лицом к нам, как бы поворачиваемый бьющим в упор пулеметом (кажется, я увидел и рвущееся пламя, и даже руки немца). Переход развернулся к нам лицом, оно было неправдоподобно спокойное, прислушивающееся. Человек все не падает, но над ним несутся низкие легкие тучи, и кажется, что там он падает, как вершина срубленного, дрогнувшего, но еще неподвижного внизу дерева…

С момента, когда он упал и мои глаза потеряли его, кажется, что именно с этого момента все изменилось.

Мягкие торфяные кочки вскипают перед глазами, они дымятся, брызжут, не закрывая, а указывая путь к твоей голове. Когда такой грохот, рев, кажется бессмысленным занятием стрелять. И надо поскорее выстрелить, чтобы ощутить, что можешь хоть на миг все заглушить.

Косач жив, я вижу его перед собой: он тоже прострочил из автомата и все поворачивается назад, ищет. Мне кажется, что он мой взгляд ищет, требовательно, нетерпеливо. Я поднимаю голову, хотя так тяжело оторвать ее от земли, от рыхлой кочки. Губы Косача что то говорят, кричат что то сердитое, а я не могу разобрать в громе и грохоте смерти. И наконец сквозь недолгую тишину:

– В обход… начштабу…

И рукой махнул, округло показал, как бы обнимая лозняк.

Нет ничего гаже, но и веселее – отходить под огнем,

когда не убегаешь, нет, не гонят тебя, а сам должен уходить, по делу, по приказу. От близких пуль что то в тебе сжалось до точки, но не захватывая всего тела, которое, наоборот, сделалось предательски огромным, неловким, отовсюду видимым. Каждый человек, мимо которого проползаешь, – черта, тобой преодоленная и оставленная, на ней чья то жизнь и чья то смерть, но уже не твоя. И в упор или вслед тебе тревожно вопросительные глаза, взгляды (*«… Что? Отходим? Так плохо?»*) или гневные, требовательно презрительные (*«Уползаешь? Хочешь, чтобы я тут, а ты…»*). Отвечать, объяснять некогда, ты должен видом своим показывать, что не убегаешь, не струсил, что ты послан, тебе приказано ползти назад.

До спасительного края лозняка еще далеко. А глаза, чужие глаза все хватают меня, спрашивают, требуют, и надо быть веселым, легким, чтобы сразу понятно было, кто и зачем ползет. С таким лицом не убегают! Я плохо вижу и потому улыбаюсь – на всякий случай – всем. И убитым тоже. Несколько раз меня по собачьи рвануло за рукав, за локоть. Замираю, ожидая, что вот сейчас всему конец! И появляется с трудом подавляемое желание вскочить на ноги и бежать, бежать туда, где край леса, за него. Туда отползают раненые, туда их тащат. Глаза у раненых изумленно, остановленно детские, будто человека сразу отбросило далеко далеко от того, чем еще миг назад жил.

За лозняком их много, раненых, тут звучат голоса, стоны, отсюда и бой слушается по другому. Уже не сплошной нависающий грохот, рев, а раздельные выстрелы, очереди пулеметные, автоматные. Они то сцепляются многозубо, то одна за одной катятся и вдруг затихают на время. Такой бой надолго, пока боеприпасы есть. Только бы хватило у нас патронов. На лицах, на руках, под порванной одеждой людей, ползущих куда то, уносимых или спокойно, мертво лежащих, вспыхивающие размытые красные пятна. Я ползу, я пробегаю мимо, дальше, а в глазах это и все не уходит. Я повторяю, может быть, даже не вслух, а про себя:

– Командир мне приказал. Я к первой роте. Косач…

Бегу уже во весь рост, там, где недавно мы преследовали немцев. Вот и они, убитые. Оружия возле немцев уже нет, и лежат они не так, как упали. Это сразу заметно, трогали или нет убитого. Даже не знаю, по каким признакам, но заметно. В убитом всегда остается последнее движение, последняя попытка спастись. И всегда они по разному лежат. А эти все одинаково, лицом кверху. Я пронесся над неподвижными глазами мертвых и некоторое время бежал, как бы забыв, куда, зачем.

Нет, я к начштабу, ничего еще не кончилось, мы должны, нам надо в обход, сзади зайти, выручать своих…

Впереди меня поджидают власовцы. Они дальше от стрельбы, от боя, смерть настигла их раньше. В телах, в позах больше мертвой распластанности, тяжести… Как давно все это было: вот тут мы бежали, а они перед нами, спасались от нашего гнева, от смерти, а Переход их преследовал, мчался навстречу собственной смерти. Бой все гремит, длится, неизвестно, что будет через пятнадцать минут, через полчаса со мной, а я уже вспоминаю бой как что то давнее и далекое.

Я домчался, увидел своих: лежат, напряженно изготовившись к бою, а несколько человек тут же стоят, курят, ждут. Как бывает на групповых фотографиях. А раненых, носилок не видно, куда то их оттащили, спрятали, может быть, в кусты, но нет времени все понять, я подбегаю к Косте начштаба, который курит, сидя на вещмешке, я выкрикиваю ему приказ Косача:

– Вокруг лозняка!.. Обойти, бегом надо!.. А то сомнут наших, командир приказал!..

Костя смотрит на меня все так же, не поднимаясь, но во взгляде, в глазах его что то резко и жестко сдвинулось. Наконец он сунул папироску под сапог, еще придавил ее крепко и тогда поднялся:

– Все, кто не при раненых, сюда! За мной – бегом!

Теперь лозняк у нас слева, мы бежим, снова огибая его и слыша бой на противоположной стороне леса. Лес этот, лозняк этот, оказывается, совсем небольшой и круглый. Лишь кое где кусты, отрываясь, уходят, убегают по торфянику к бурым и черным кучам, а в одном месте заросшая канава, мы ее сейчас минули. Старая, тесная от лозняка мелиоративная канава, давно высохшая, уползает к тем же торфяным барханам.

– Вернись ка! – Костя начштаба остановился, задержал одного партизана. – Вернись к оставшимся и скажи: сюда раненых, в эту канаву. Понял? Пусть несут и залягут тут. Веди их сюда.

Партизан побежал назад, а мы снова устремляемся вокруг лозняка – туда, где гремит бой. Но нам уже кажется, что бой сдвигается все левее, уходит от нас. На бегу я пытаюсь рассказывать Косте начштаба, как мы гнались за власовцами, за немцами, как перед нами оказалась цепь с пулеметами, как Косач мне прокричал, показал, чтобы шли в обход, с тыла ударили… Костя напряженно слушает и меня и бой, который на самом деле удаляется. По тому же кругу уходит. Неужто сбили Косача, теснят?

Справа за ядовито синим пологом прозрачного торфяного дыма мы увидели далекие купчастые (наверное, сад) деревья и несколько крыш. И дорога виднеется туда, оттуда. По ней, по этой дороге, пришли немцы? Вот и следы, тут и на лошадях ехали. Скоро, сейчас мы их увидим, они нас! Торфяники тлеют, голубоватый дым съедает даль, крыши и деревья тают, плывут. Ветер оттуда, и нас снова душит кашель, мешает, сбивает с бега.

Мы их увидели возле оседланных, навьюченных лошадей и сразу бросились к ним. Очереди автоматные сплелись, резко ударили винтовки. Люди в зеленом стали вскакивать с земли, отстреливаются. Лошади, раненые или убитые, очень тихо опускаются на землю. Сначала на колени, потом ложатся. Стоит, будто

дожидаясь, и вдруг, как рябь на воде, задрожит от крупа до шеи и падает на задние, на передние ноги…

Мы погнали обозных немцев в сторону большого боя, вслед ему. Они яростно отстреливаются, и нам снова и снова приходится падать, подниматься, ползти, стрелять.

Теперь лозняк, небольшой лес этот, как бы окольцован стрельбой. И этот кольцевой бой, бой по кругу, медленно вращается. Немцы потеснили, теснят Косача, а мы их тесним. Костя начштаба снова послал связного: снять тех, что оставлены в канаве, уводить, уносить следом за нами, по кругу наших раненых.

(Что происходило и как это получалось (как на рисунке: круг, *«кольцевой»* бой!), хорошо видно отсюда, издали – из автобуса, из памяти. Тогда же было только ощущение непредвиденности, странности происходящего и даже невозможности. Пожалуй, в такое и не поверил бы, если бы не с нами это происходило.)

Вот, кажется, то место, где нас встретила цепь немцев с пулеметами. Земля, торф тлеют, везде стреляные гильзы, ржавые пятна впитавшейся крови, красно белые бинты, клочья одежды. Но убитых не видно. Косач унес наших. И немцы тоже забрали своих. Лежать остались на месте трупы власовцев. Но их снова потревожили – все они без ремней и подсумков, а один и без сапог.

Надо бы приостановиться и дождаться своих раненых (из той канавы), надо бы быстрее бежать, чтобы настигнуть основных немцев, которые теснят Косача. Но у нас времени нет ждать, но и сил уже не осталось бежать. Мы то срываемся на бег, то бредем, задыхаясь от ядовитого чада, кашля. Солнце – как красная круглая дыра в шевелящемся от дыма и облаков небе.

Коло боя вращается вокруг леса, не имея возможности разорваться: ни мы, ни немцы не решимся броситься в сторону, где горят торфяники, или уходить по дороге,

открыв себя пулеметам. Автоматные очереди там, где немцы и Косач, звучат все реже. Уже не бой – как бы предупреждающее рычание. Это на противоположной стороне круглого леса. Кто кого теперь преследует, кто гонит, а кто уходит, кто позади, а кто впереди?

А солнце – красное, большое в шевелящемся дымном небе – точно раскаленное, направленное в упор жерло…

Вот снова та канава: где мы оставляли своих раненых. Костяначштаба распорядился задержаться, ждать. Залегли на всякий случай. Ждем своих, но кто появится на самом деле? От чада, от тошноты кружится голова, глаза совсем разъело дымом, а тут еще и кашель гонит слезы. Те, у кого глаза получше, уже видят наших, уже говорят, обсуждают, посмеиваются даже. Это всегда забавно: наблюдать со стороны, как знакомые люди идут с опаской, с оглядочкой, *«на цыпочках»*. А я вижу только собственные слезы – радужное что то, горячее от боли. Затем и для меня что то темное задвигалось, появилось. Впереди идут дозорные, а следом по трое, по четверо – с носилками. Много их у нас, раненых, хлопцы совсем вымотались, посеревшие, мокрые, опустили, поставили на землю носилки и ругают нас:

– Бегаете, черти! От кого, от нас?

Раненые тяжело молчат, тревожно вслушиваются в стрельбу. Лишь те, кто без сознания, что то говорят, говорят. Просят воды. Нам всем пить нестерпимо хочется. А от их сухого, горячечного шепота еще больше…

Но у некоторых раненых взгляд, глаза неправдоподобно спокойные, сосредоточенные. Это умирающие. Они умрут независимо от того, как окончится этот неправдоподобный бой. Когда смерть подступила к человеку и уже не уйдет, он остается один. Сколько бы и кто бы ни был рядом. (Я видел однажды, как умирал пожилой партизан в лесу. Возле него стояли два сына, тоже партизаны, и старуха. И все мы, кто был поблизости, подошли к телеге, на которой он лежал. Человек, не чуя уже ран своих, весь белый от бинтов,

смотрел на нас вполне осмысленно, но так, будто нас и нет здесь, а только он и еще что то, нам невидимое. Старуха тихо покачивалась над ним, держась обеими руками за телегу, а когда взгляд умирающего еще глубже уходил от нас, удалялся, она начинала нараспев говорить, причитать:

– Тихон, я плачу, видишь, и дети плачут, Тихон, и твои товарищи тут, Тихон, ты слышишь, мы плачем!..

Женщина так наивно, но и так понятно пыталась разорвать страшное одиночество смерти – одиночество последних мгновений человека. Меня кто то убеждал, что последняя обязательная слезинка мертвого (о ней и Косач говорил, о последней, о вымороженной) – это слезинка одиночества, страшной покинутости каждого перед лицом смерти.)

Косач со своими теперь должен появиться. Если только все так, как нам представляется, если они действительно по кругу идут и сразу вслед за нами. Костя решил дожидаться, и мы, изготовившись на всякий случай к бою, смотрим, кто сейчас появится.

С нами четверо умерших, убитых, их положили в сторонке, но тоже на носилках. Перетасовались мы, и теперь уже я возле носилок, мне нести. Я постарался стать так, чтобы нести не убитого, не мертвого. Ходить по этому слепому кругу, да еще с мертвым на руках! Живой легче – это проверено, не так притягивает к земле…

– Смотри, идут то как! Сразу видно, косачевцы!

– И Косач, да он ранен! Видишь, забинтовано плечо.

– Не Косач это. Нет, вроде…

– Остановились, заметили. Показаться, позвать надо, а то еще бой затеют. Товарищ начштаба!

– Ага, боишься косачевцев!

– Верь им!

Наши несколько человек поднялись, вышли из канавы, машут руками, сигналят, поднимая и опуская винтовки.

Трое дозорных потоптались на месте, тоже сделали пароль оружием и уже веселее направились к нам. А из за кустарника вытягивается вся цепочка косачевцев: передние с винтовками, с автоматами в руках. У идущих следом, кучно (по четыре, по шесть человек), знакомый нам вид людей, неловко, устало несущих раненых, убитых. Мы про себя и вслух считаем. Да, тот, у кого забинтовано правое плечо, – Косач. Он без куртки, в одной гимнастерке и без знакомой фуражки. Автомат под левой рукой.

Костя пошел ему навстречу, потом остановился, стал ждать.

И вот мы уходим все вместе, и все убитые, раненые с нами.

– Тут ровнее, командир, тут уже дорожку пробили, – услышал я, как Костя начштаба сказал Косачу.

А тот отозвался, коротко засмеявшись:

– Вот так, Костя, следу человеческому будешь радоваться!

И приказал:

– Постреляй, начштаба, отзовись. Чуешь, спрашивают? (Немцы по другую сторону леса время от времени стреляют.) Мы то свои диски разбазарили. И скажи, чтобы поделились патронами.

– Патронами? – Костя недоверчиво усмехнулся. – Патронами, говорите!

– Ничего, прикажи.

Костя направил в сторону кустов автомат, дал очередь, вторую. Немцы отозвались тут же. Целым залпом очередей. Рады, что мы есть? Или что мы не близко, далеко?

И снова – как отметка на круге – трупы лошадей. А две лошади мирно бродят возле самых торфяных гор. Взмахивают головами, переходят с места на место – дым, гарь их мучит.

– Провалятся в огонь, – говорит бородатый пожилой партизан с перебитой ногой, которого мы несем на одеяле. Он натужно вытягивает голову, выглядывает из своего неудобного гамака.

– Сейчас сбегаю, заверну, – сердито отзывается Ведмедь, вцепившийся в одеяло, в тяжелую ношу побелевшими пальцами. Пот ест ему глаза, заливает стекла очков. Низкорослому Ведмедю особенно худо: ему приходится свой угол одеяла все время поднимать, тянуть кверху.

– Рванул бы я по этой дороге, откуда немцы пришли. Сколько можно так ходить? – жалуется Ведмедь.

Мы вчетвером несем своего раненого. Держаться за концы одеяла приходится двумя руками, а винтовку тоже за спину не закинешь, нужна под рукой. Винтовка мешает, бьет по коленям.

И каждому кажется, что сосед не так держит, не так идет. И не то, не так говорит.

– А ты узнал, кто тебя поджидает на этой дороге?

– Вот и узнаем.

– Лучше вот держи как надо! Уходить, так назад, к болоту. По которой мы пришли. Усатый хитер, сидит теперь и бульбочку печет. А мы кружись, как слепая лошадь.

– Сидит и в ус не дует, – флегматично позавидовал белобрысый парень.

– Иди ка в ногу, – распоряжается сердитый от усталости толстяк Пухов, который всех нас все поправляет. – Что ты на куст прешься? Он хочет (это снова Ведмедю) на дорогу выбежать. А я тебя из пулеметов и накрою.

Немцы только и ждут, чтобы мы оторвались от этого проклятого леса. Да не тащи ты, подними выше!.. Припрут на открытом, куда побежишь? В горячие ямы?

– Коней жалко, провалятся, – снова говорит раненый. Он нас не слышит – оглушило миной. Голова, худая шея бородатого дядьки по птичьи тянутся кверху из глубокого гамака.

– Извините, хлопцы, тяжелый я, – просит раненый.

– Ничего, батя, – говорит белобрысый флегматик. – Перехода вшестером еле еле! Только зачем мертвого?

Ведмедь вдруг удивился:

– А правда! Такая война, что и за мертвого боишься. Где уж там раненого оставить противнику.

Мы все уходим от немцев, унося своих раненых, убитых, и как бы даже понимаем, почему мы ходим и они ходят, почему они не остановятся, не залягут и не навяжут нам бой (у них для этого патроны есть, у них всегда почему то есть патроны). Ждем, что вот сейчас напоремся на засаду. Уходим от них, идем следом за ними, прислушиваясь к угрожающей (а может, предупреждающей?) пальбе.

Все таки первое то ощущение, когда мы налетели на них, когда гнали, опрокидывая, а они убегали, наверное, продолжает действовать. Немцы и сами, пожалуй, не знают определенно, преследуют они нас или уходят от нас. Возможно, тоже идут и боятся нашей засады. И, может быть, сейчас думают про то, как им сорваться с этого заклятого круга, с этой бесконечной орбиты, не подставив себя под огонь и не провалившись в ямы.

Переход, оба Перехода – и раненый младший и убитый старший – у нас за спиной. Впереди несут комиссара Шардыку, говорят, уже умершего. Время от времени мы меняемся ролями с теми, кто идет впереди отряда, и с теми, кто прикрывает отряд сзади. Или неси убитых,

или жди, когда из засады ударят в тебя, переднего. Но устали так, что любой охотнее пойдет впереди колонны. Пот, едкий, горький от дыма, обливает все тело, его просто спиваешь с лица, так он струится, так заливает губы. Теперь я несу Перехода старшего, мы вчетвером несем, и вместо носилок – его брезентовый плащ. Ногтям больно, такой он тяжелый, так тянет мертвое тело к земле. И самому хочется упасть и не двигаться, погрузиться в усталость без остатка, сладко замереть. Глаза мои плавают в радуге, все окрашено многоцветно, но все чаще, как тень, наплывает черная полоса. Вдруг вышло наверх все, что копилось эти дни, слилось в одно тупое чувство самой последней усталости, за которой уже полное безразличие – даже к самой смерти.

Немцы все стреляют за лесом, а мы уже молчим. Наше молчание их беспокоит, пугает, и стрельба все усиливается. Сколько минуло с того мгновения, как разорвалась первая мина и мы бросились на власовцев? Вот они, лежат перевернутые, глазами к небу, для них прошла целая вечность. Даже секунда смерти – такая же вечность, как и миллион лет. А над нами еще ходит живое солнце, оно сделало большую часть своего полукруга, пока мы вертим свои жернова. Сколько раз их вертели и до нас… Еще много раз обойдем вокруг леса, прежде чем солнце скатится за те дымные холмы. А потом что? Что потом произойдет, неизвестно, но только об этом и мечтаешь: скорее бы оно свалилось с дымящегося жаркого неба и перестало плавить, сжигать нас. Я наклоняюсь к своему локтю, чтобы протереть глаза, и вижу близкое лицо Перехода. И как то нехотя удивляюсь тому, что оно совсем не потное. О чем я, куда это соскальзывает мое внимание?.. Кажется, ни до чего уже нет дела, и вместе с тем замечаешь самые подробности.

Завораживающее что то в этой дикой ходьбе по своему и по чужому следу. Мы уже дорожку пробили в торфе, мы и немцы. Сколько же мы кружили? И сколько нам еще ходить?.. Нет, мы уже не ходим. Ноги сладко вытянулись, они гудят, как пропеллер, а закроешь глаза, так и впрямь кажется, что тебя поднимает, что

ноющее, дрожащее каждой мышцей тело твое покачивается над землей. Тошнота усиливается от такого покачивания, торопишься открыть глаза. Мы лежим в той самой, заросшей лозняком, канаве, нас тут оставили. Костя начштаба предложил Косачу спрятать несколько человек и посмотреть, как идут немцы, сколько их, что у них и чего ждать от них. Начштаба сам остался с нами. Четверо нас в этой канаве. Мы еще видим наших косачевцев, смотрим, как они уходят. Много носилок, слишком много. Люди едва ноги переставляют, пошатываются от усталости, от жары, от чада. Живых душит, бьет кашель. Когда лежишь спокойно, кашель не так мучит, но и нас он не покидает, особенно тучного Пухова. Костя спрашивает время от времени:

– Ну, не надоело?

Человек рукой, кепкой пытается заглушить кашель, припадает лицом к земле, виновато смотрит мокрыми красными глазами. Оправдывается:

– Воды бы.

– Сейчас поднесут немцы, – говорит Костя начштаба, – ползи ка ты, дядя, по канаве вон туда, подальше.

Но тут закашлялся Зуенок, а затем и сам начштаба.

– Все равно ползи, – говорит Костя, – хватит тут и без тебя хрипунов.

Тучный партизан пополз, не переставая давиться кашлем, а мы ему показываем: еще слышно, дальше, еще дальше!

Лежа можешь хотя бы глаза протереть. Когда не мог, когда заняты были руки, казалось, что только протереть их хорошенько, снять эту щекочущую слезу и станет легче. Платка у меня, разумеется, нет, а все остальное такое измазанное грязью, сажей, что к глазам не поднесешь. Я вытащил низ нательной рубахи, желтой и соленой, – самое чистое, что у меня есть, – и ею тру

глаза. А солнце плавится в шевелящемся дыму, тоже воспаленное, оно с каким то зловещим синюшным отливом. Солнце жжет, палит, а во мне озноб. Кажется, что и в воздухе, прокаленном, продымленном, разлит этот озноб, спины торфяных холмов зверюг дрожат мелко, непрерывно…

Вот они – передние немцы, дозор! Это всегда особенное чувство – из засады смотреть, как появляются перед тобой враги. Вы никогда один одного не видели, не знали, что другой есть на земле, но где то что то сложилось так, а не иначе, и – нет теперь людей, более связанных друг с другом, чем вы. Одна жизнь на двоих, одна смерть на двоих – делите!

Но мы не засада, мы сами себя посадили в ловушку. Тут и останемся, нас убьют в этой канаве, если немцы вдруг решат осмотреть ее или мы обнаружим себя кашлем, который начинает вдруг клокотать во мне, в Зуенке, в Косте. У нас по очереди делаются испуганные и виноватые лица. Мы бросаемся лицом, ртом на руку, в землю и не кашляем уже, а тихо гудим, стонем.

В зеленых мундирах или в пятнистых накидках, в касках идут немцы. По одному и группами. И все смотрят на лозняк, настороженно держатся, отступая от кустов. Они оттуда ждут нашего появления? Вот оно что! Немцы считают, что загнали нас в этот лозняк (мы уже давно не отзываемся на их выстрелы), что мы засели в лесу. Ходят и дожидаются, когда мы выбежим на открытую местность. Вот один остановился и застрочил из автомата в глубину леса. И сразу другой, третий выстрелили из винтовок. Кустарник обстреливают. В нашу сторону они не смотрят. Много их, больше сотни вывалило из за края лозняка, и все новые появляются, идут по направлению к нашей канаве. Те, что в середине колонны, не смотрят на кусты, не стреляют: несут раненых, убитых. И так же, как мы, на плащах, на одеялах. По четыре, по шесть человек возле ноши, спотыкаются, мешают друг другу. Водит их в стороны. Слышны вялые голоса. Все ближе подходят немцы, и их кашель, спасительный, громкий,

слышен нам. Свой мы зажимаем в себе яростно – кто ладонями, кто рукавом. Вот уже и последние немцы появились из за кустарника. Эти сбились в плотные группы и не на кусты смотрят, а назад оглядываются, ждут нас сзади. Весь вид их показывает, что не они нас, а мы их преследуем. Передние убеждены, что загнали нас в кусты, что преследуют нас, а этим кажется, что партизаны теснят, гонят их. Повернется, построчит из автомата назад и догоняет своих, на ходу вытаскивая из сапога или из сумки новый *«рожок»* с патронами.

Сначала мы все ждали, что нас обнаружат. Но вот они совсем рядом: кашляют, разговаривают, стреляют метрах в пятидесяти от нас. Наша канава упирается прямо в лозняк, и немцам приходится спускаться, пересекая ее. Все подступило вплотную, кажется, что идут прямо на нас – вот вот на голову наступят. И все в то же время отдалилось, точно не ты это лежишь здесь или ты, но не теперешний, а было это когда то с тобой и уже прошло, минуло и только вспоминается до жути реально…

Ушли немцы со своими ранеными, со своими убитыми, вслед нашим ушли, и мы стали ждать снова появления партизан, Косача. Теперь мы своих видим также со стороны, и хотя другими глазами, подругому, с радостным чувством возвращения к самому себе, но опять показалось на миг, что и это лишь воспоминание о чем то происходившем с тобой давным давно. Подполз, присоединился к нам и Пухов. Он все кашляет, но теперь открыто, приветствуя нас, жизнь, безопасность своим радостным, уже не стесненным, не сдерживаемым кашлем. Костя начштаба постучал кулаком по его толстой спине, но и сам закашлялся и засмеялся.

Мы направляемся к своим, помахали им оружием и теперь идем навстречу. Вошли в колонну, слились с нею, с ее движением. Теперь нам весело рассказывать, как близко были немцы, как мы их рассматривали и какие они.

И снова идем вокруг леса, унося своих раненых, убитых,

настигая врагов и уходя от них, и уже не верится, что было что нибудь, кроме этого бесконечного хождения под огромным безжалостным солнцем, и что будет, возможно, что то другое. Становишься все более безразличным, далеким самому себе. Нас, живых, точно меньше делается, а тех, кого несем – раненых, убитых, – больше. Уже нет подмены, уже и шестерым тяжело тащить мертвую ношу или раненого.

Солнце почти завершило свой полукруг, оставляя нас одних. Жара спала, но усталость большая, хотя, кажется, и невозможно устать сильнее. Торфяной дым сделался гуще, ядовитее, кашель душит всех, раненых тоже. Только убитые тихо лежат в провисших гамакаходеялах, на которых мы их носим.

И по мере того, как красное, с дымным, синюшным ободком солнце спускалось за темнеющий край земли, за торфяные холмы, а небо поднималось до кое где уцелевших звезд, из черной земли начинал выступать, выделяться, начал трепетать, дрожать свой свет – зловещий, нутряной. Он тоже подсинен торфяным дымом, этот встающий снизу воспаленный свет земляного пожара. Он уже везде, все более широким кольцом замыкает и нас, и лес, вокруг которого мы ходим, и невидимых, где то постреливающих немцев. Уже не знаешь, где они, те тропы, по которым сюда прошли мы, немцы, по которым можно вырваться назад или вперед. Огонь везде, и он наступает. Глянцевые отблески его на лозняке, на наших лицах и лицах мертвых. С каждым кругом те убитые, которых и мы, и немцы оставили на земле – власовцы, – в чем то меняются, всякий раз они по другому нас подстерегают. Разбросанно белеют трупы, они то ближе (начинает казаться) друг к другу, то расползаются, пока мы и немцы делаем следующий круг. Потом замечаешь, что они на том же самом месте и все те же. Отмечаешь это с бессмысленным, случайным интересом человека, который устал смертельно. Мы все чаще останавливаемся: опускаем на землю раненого и сами падаем возле него как убитые. А потом он голосом, рукой будит нас по общей команде. Кто то там впереди,

Косач, Костя начштаба, кто то распоряжается, но уже через раненых – они теперь самые свежие, живые, не замученные, они нас будят, толкают. И мы снова несем их, несем убитых, вяло и тяжело. Что то в это время делают наши враги, наверное, такие же вымотанные, делают то же, что и мы, – уходят от нас и догоняют нас. И мы и они слишком выпотрошены, измотаны, чтобы остановиться и завязать бой.

Где то есть дорога, по которой мы пришли, по которой пришли наши враги. Можно попытаться по одной из этих дорог вырваться из сжимающего кольца земляного пожара. Но сразу откроешь себя пулеметам другого, другой тут же воспользуется преимуществом преследователя. Земляной огонь все разгорается под темнеющим небом, он так плотно нас окружает, что уже не верится в какие то уцелевшие дороги, тропки. Где они там? Но они есть, не мог за один день торф подгореть кругом, везде. Надо только найти ту дорогу, но прежде обезопасить себя от преследования.

А пока остановились, вслушиваемся, где немцы, где стреляют. Можно упасть и лежать… Снова нас будят раненые, окликают:

– Хлопцы, подъем!.. Подъем!.. Разбудите того!..

Надо подниматься. Но можно побыть еще миг в состоянии сладкого забытья, пока не все еще встали. Толкают, надо…

Ага, мы сейчас на том месте, где убили лошадей. Сюда подходит дорога, по которой немцы появились. Значит, по ней будем уходить, нам туда прорываться. Значит, будем уходить…

Сразу слетела сонливость и даже про усталость вроде забыли.

– Раненых уносите, вторая рота уносит раненых, – бормочет с носилок молодой партизан, у которого на лбу набухшая кровью повязка, а лицо закорело, черно блестит от засохшей крови.

– Первая пойдет, первая навстречу немцам, – напряженно вслушиваясь, привычно повторяет команду раненый, строго глядя на нас с земли, точно мы, и правда, спим или сами не способны расслышать. Нет, я пойду с первой, мы пойдем навстречу немцам, а тем временем наши унесут раненых как можно дальше. Наконец и вот так это кончится – мы повернем, мы двинемся назад, навстречу врагам, и все, что было в эти дни, что копилось на бесконечных кругах, разрядится. Может быть, смертью, но разрядится. Глаза мои залиты слезой, но я словно привык уже к этому состоянию – к тому, что все, мною видимое, расплывается, тает, окрашено болью и радугой…

Тем, кто пойдет на немцев, собирают и передают патроны. У меня немецкая винтовка, мне нужны немецкие… Ага, уже идем, уходим, ну вот и хорошо! Мы оглядываемся на своих, пока еще можно видеть. Неловко, устало, яростно вцепившись в одеяла, в брезент или просто так, за руки, за ноги уносят раненых, убитых, вытягиваются в тревожную и торопливую процессию, уходят навстречу дымному зареву. Нет, нам уже не вернуться к этой дороге, мы это знаем, нас мучит тоска этого знания, и, чтобы заглушить, задавить ее в себе, мы все ускоряем шаг. Пятнисто блестит листва лозняка, лица у людей окрашены зловещим земляным огнем, тени от кочек и рытвин, от кустов кажутся черными ямами… Мы уже бежим, откуда то сила взялась бежать, мы расходуем какой то НЗ, последний запас, который раньше бессознательно приберегали. Теперь уже незачем приберегать. Меньше чем полкруга сделаем и тогда найдем, встретим тех, от кого уходили, кого преследовали. Костя начштаба с нами, когда он оглядывается на бегу, мне кажется, что лицо его, глаза его неестественно веселые.

Впрочем, я плохо вижу, мне многое только кажется.

Мы уже устали бежать, дышать нечем, перешли на торопливый шаг. Цепь наша сильно перекосилась, крыло, которое дальше от леса, отстает. Как воду в

низинку, всех сносит к лесу, где и рытвин не столько, и круг поменьше.

Справа у нас неровно подсвеченная стена лозняка, слева изломанный торфяными холмами горизонт, съедаемый огнем – красным, желтым, синим, даже черным. Даже чернота какая то пылающая, плавящаяся.

Прошли канаву, еще прошли и увидели лежащих людей. Это мертвая засада – власовцы. Знакомыми пятнами белеют на земле трупы. Что то мстительное, злорадное в их неподвижности, успокоенности…

Костя начштаба все оглядывается на нас, как бы прикидывая, сколько времени эти тридцать или сорок человек смогут продержаться. Мы отбежали, отошли достаточно далеко от своих, давно уже не видим их, а немцев нет. И не слышно больше, чтобы они стреляли.

А что, если и они одновременно с нами решили развернуться и идти нам навстречу? И потому снова уходят от нас и сейчас натолкнутся на наших раненых. Костю начштаба явно беспокоит это. Немцы будто сквозь землю провалились. И не стреляют больше, а до этого все время мы их слышали.

– Вон они, смотри! – крикнул кто то обрадованно, облегченно. В километре, если не больше, от лозняка какое то живое движение, подсвеченное дымными заревами. Да, они уходят по дороге, которая нас сюда привела.

Там их встретят усатый командир, его отряд.

А в противоположной стороне нас поджидают другие немцы – внешнее кольцо блокады.

Мы завершаем свой последний круг, чтобы все таки убедиться, что немцы действительно ушли, что ушли все.

Нам надо догонять своих.

… И все таки почему за Косачем мне видится Борис Бокий, и наоборот – Косач за Бокием? Я ведь не очень понимаю, что такое Косач, чтобы их сравнивать. А Бокия я и не видел никогда, только слышу его спорящий голос. Бокий – весь из книг, из библиотеки, из радио и газет, а у Косача все это от войны. Что это, я, пожалуй, и не сформулировал бы точно. Горькая, безрадостная, порой ожесточенная мысль о людях, о человеке? У одного густо настоянная на собственной жизни, у второго выросшая из опыта других, но принимаемого очень лично. Порой (у Косача) это оборачивается какой то остановившейся (как его улыбка) мыслью, утопленной в действии, поглощенной действием; у других же, как у Бокия, размышление мучительное, постоянное, и есть действие. Бокий напоминает человека, не верящего в добрый исход болезни именно из за слишком мучительного, страстного желания такого благополучного исхода. Мысль его на лету, как спазмой, перехватывает нетерпением, горечью, болью. (Такая же спазма, но уже переходящая или перешедшая в ожесточение, чувствовалась и в Косаче. Особенно это прорвалось в нем после Переходов, на том болоте.) Бокий порой мне представляется Косачем, но который вдруг разговорился…

… И то сказать, нет сегодня спокойного понимания. Если оно спокойное, значит, человек не понял всей угрозы. Я изображаю перед Бокием такое уравновешенное понимание, но он явно не верит мне, видит в этом полемический, дразнящий прием и еще рефлекс слепого, привыкшего избегать резких движений. А сам он, мой постоянный оппонент, весь из таких движений! Порой он так нащупывает, угадывает мои собственные сомнения, мою боль, что его можно было бы принять за свое оппонирующее *«я»*, без которого нет *«стереоскопического»*, объемного взгляда на события – на мир и самого себя…

– Вот, полюбуйтесь, Флориан Петрович, какой себе праздник устроили – патриотический! – даже из суда над убийцами Сонгми! Тысячи писем шлют лейтенанту Уильяму Келли, который взял на себя национальное бремя убивать. А он драпируется, кокетничает: *«Скажет мне большинство (вчера изъяснялись: «Фюрер скажет»!) убить целую страну – убью! Я всегда буду ставить волю Америки выше своей совести!»* Заметьте разницу: Клод Изерли, участвовавший в убийстве Хиросимы, сам напрашивался в тюрьму, под суд, пока не спрятали *«национального героя»* в сумасшедший дом. Там война все таки против фашизма была! А этот только удивляется: *«Убийство? Смешно! Вы же меня послали, я выполнял долг! Так какого черта!»* – не смешите Келли. Сегодняшним изерли смешон суд совести. И всякий другой тоже. Хотя в отличие от Клода Изерли они будут знать, какой груз в брюхе их самолета или в пасти ракеты… Вот такое ускорение, уплотнение, а вы меня уговариваете! По прежнему полагаетесь на мое божественное терпение? Все знаки расставлены, показаны. Выбирай, человек, куда идти! Мало, что ли, знаков: Бухенвальды, Хатыни да Хиросимы… А где то и последний. Дойдешь – возврата не будет. Раньше за человека природа хлопотала. Теперь сам похлопочи. Ей уже не справиться с твоими бомбами да фашизмами. Самому придется справляться, homo sapiens!

И все таки! Так то оно, но и не так, дорогой мой Бокий. Когда то Гегель бросил горькую мысль, что история учит лишь тому, что она никого ничему не научила. Казалось бы, и сегодняшнему человеку есть от чего прийти в отчаянье: снова Хатыни, снова адольфы!.. Снова находят легковерных, все забывающих простаков, находят недальновидных, находят жестоких – опять отыскался сухой хворост для ползущего огня. Снова коротенькие наркотические идеи и наркотики вместо идей.

Стрелка сдвинулась, подрожала и опять шарит где то возле тех же делений…

Так и не научились люди ничему? Но ведь мы не знаем, да, Бокий, не знаем, где бы сейчас был мир со своими бомбами, не будь горького опыта тридцатых – сороковых годов!

И не будь у человечества тех пятнадцати минут…

Когда Нюрнбергскому суду, журналистам, солдатам охраны, публике (и подсудимым также) показали кинодокументы нацистских зверств в Европе (в Белоруссии, в Подмосковье, на Украине, в Польше, в Югославии), показали Освенцимы и Хатыни (еще не называвшиеся Хатынями), и когда после этого зажегся свет в зале, люди, поднявшись, все повернулись и стали смотреть на главных убийц: пять минут, десять, пятнадцать… Молча смотрели на себе подобных, содеявших это.

Уже не пятнадцать минут, а четверть века длится он – взгляд в упор. Да, кое где фашизм уже встал с той скамьи, разминает затекшие мускулы, сменил смиренно удивленную, искательную мину на наглую ухмылку. Он уже рычит сытым баварским голосом: *«Сегодня Германия достаточно сильна. Мы имеем право требовать, чтобы все прошлое было забыто!»*

Но новые фюреры нервничают, где бы они ни объявились.

Взгляд в упор длится…

Сонгми… И сразу вспыхивает, как в луче: Лидице, Орадур, Хатынь, Хатыни!..

Молодчики, избивающие ремнями за чтение книг… Сразу встает: костры из книг на площадях Берлина и Мюнхена!..

Штраус, Адольф фон Тадден, Голдуотер, Альмиранте… И сразу проступают соплевидные усики…

О них, о новых фюрерах, люди помнят все.

И они сами помнят о себе… Хотя так хотелось бы

забыть! Как сидели пойманно, а люди в Нюрнберге, в Минске, в Киеве, в Варшаве, в Белграде разглядывали их, а жертвы с киноэкранов смотрели в упор… Испарилось, будто и не было его, десятилетие жестокой власти над жизнью, над судьбами миллионов… Помнят они, как у них, называвшихся тогда герингами и кохами, растягивались губы в искательную улыбку перед конвоиром, победителем, солдатом. Как жалко, непохоже выглядели они, недавние дуче, под дулом партизанского автомата. (« – *Я знаю, что мне не сделают зла*».) Как визжали, как не хотелось им, кальтенбруннерам, в петлю, как падали они, розенберги, в обморок, совершенно по женски, хотя чужие смерти, миллионы ими запланированных чужих смертей, вызывали в них профессиональную скуку. И как у них, называвшихся тогда гитлерами, шамкал рот и дрожали пальцы, ощупывающие ампулу с ядом.

Как бы нагло ни вели себя сегодня под защитой новой силы, власти, они помнят, что тогда была у них власть над половиной мира, а затем, как, проснувшись, обнаружили себя один на один со свидетелями судьями, которых, казалось, они давно истребили…

Как это у Пита Сигера – поющего американца?.. *«Последний поезд в Нюрнберг! Последний поезд в Нюрнберг! Каждый занимает свое место! Вы видели лейтенанта Келли? Вы видели капитана Медину? Вы видели генерала Костера? Вы видели Уостморленда? Отходит поезд в Нюрнберг!»*

Да, знаки действительно расставлены, освещены, у всех перед глазами, памятью!..

Любой обман не может длиться очень долго, невозможно всех обманывать вечно. Сегодня это такая же правда, как и в былые времена. Но не столь утешительная, как прежде. Слишком опасен и кратковременный обман многих. Потому что есть Бомба, которой и малого времени достаточно. На себе останови цепную реакцию! Вовремя, homo sapiens, и в себе также оборви проводок, соединенный с Бомбой!..

В армейском госпитале, помню, сосед по палате, сапер с выжженными глазами, рассказывал, как однажды он тонул, а его спасали, откачивали на берегу озера. По его словам, он все время слышал голоса спасателей, а в какой то момент стал и понимать, о чем говорят. И вдруг ясно слышит:

– Баста! Что его мучить? Сорок минут – и никакого признака! Безнадежно!

Человеку хотелось крикнуть, что он живой, хотя бы застонать, пошевелить губами, а он не мог. И помнит, что ждал с ужасом, а вдруг и другие согласятся с этим: *«Безнадежно!»*

Не прекращать усилий, даже если кажется, что все возможности исчерпаны, что окончательно проиграно сражение, – это всегда считалось правилом, качеством настоящих полководцев. Но ведь там на кон ставилась судьба всего лишь чьей то власти или пусть даже державы. Тут же, сегодня – судьба человека на планете на вечные времена. В самом прямом, не философском смысле: быть или не быть? Слишком многое поставлено, и – какая бы ситуация ни была! – человек не имеет права сказать: *«Баста! Безнадежно!»*

– Поворот на Хатынь, – сказали в автобусе. Нас качнуло, накренило, и гул в машине сделался лесной, близкий.

– Один… два… три… – Сережа громко считывает цифры. Наверное, с километровых столбиков.

Снова открытое пространство (звук отступил); останавливаясь, мы сделали крутой разворот.

– Приехали, папка.

День очень солнечный, теплый. Это моя привычка: выходя из помещения или машины, прежде всего поискать лицом, кожей, веками щекочущую ласку солнца. Общая, так сказать, ориентировка в космосе.

Голоса вокруг, много, приглушенные. И иностранцев голоса. Их теперь и на улице нашего, не столичного города услышишь. С тех пор как я ослеп, особенно в последние годы, их появляется все больше, они приблизились.

Шарканье ног по цементу, шуршание колес и моторы подъезжающих машин. Ударил мне под ноги резкий металлический звук. Это моя палка, здесь она непривычно и неприятно громкая. Я поднял ее, взял под локоть. Подождал, покуда меня найдет Глашина рука. Но металлический звук, как эхо, остался в пространстве, он издали пробивается к нам – сквозь голоса и шарканье подошв. Это и есть Хатынские колокола? На высоких печных трубах, говорят, висят колокола – на месте бывших хат…

Мы движемся навстречу этому звуку, слабому, точно расколотому. Приостановились возле людских голосов, повторяющих цифры:

– … Два миллиона двести тридцать тысяч… В Белоруссии погиб каждый четвертый житель…

– Папка, тут ступеньки, – предупреждает Сережа.

Глаша, сжимая мой локоть, показывает: здесь! Три шага и снова – здесь! Под ногами дорожка шершавая, твердая.

– Это могильные плиты? – тихо спрашивает Сережа.

– Нет, это просто дорожка.

Глашина рука, подсказывающая и показывающая, как идти, как ставить ногу, сегодня не такая, как обычно бывает дома или на улице города. Она – как тогда в лесу, где гремела немая (для меня, оглохшего) пальба, а Глаша, вцепившись, повиснув на моей руке, показывала, далеко ли, близко ли стреляют…

Звук уже резче, ближе. Дрогнув, возникнув, он глохнет, как зажатая боль, чтобы тут же раздвоиться. Прозвучит двойной, тройной – расколото, цимбально – и тоже

обрывается, будто на него легла чья то ладонь. Но снова и снова появляется в мире расколотый, цимбальный звук, его уже ждешь, и с ним возникает даль, уходящая, расширяющаяся. В тебе самом что то расширяется. Звук снова и снова ищет, ощупывает дно, зовет эхо.

Три шага – и ступенька. Плиты, наверное, черные. Сереже они показались могильными. Три шага, и мы чуть ниже, на ступеньку ниже.

– Мамка, и тут никто никто не остался живой?

– Тише, Сережа, тише, послушай, что тетя рассказывает.

Молодой девичий голос объясняет, как тут было, что тут происходило больше четверти века назад: как налетели каратели, как согнали всех в сарай и подожгли, а люди выбегали на пулеметы…

За девичьим, молодым голосом, как правда, которую высказать, передать невозможно, но которая тем не менее правда, все тот же цимбальный перезвон колоколов, уводящий вдаль, пересчитывающий мертвые печные трубы.

«Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый» – это засело как заноза под черепом маньяка в одном конце Европы, и через несколько лет сюда, в другой конец континента, пришли, чтобы убить детей… Которые *«потребляют, съедают больше…»*.

У каменного старика, того, что держит убитого мальчика, ладонь, пальцы прострелены. Я не знаю, видят ли это зрячие. Я видел не раз после войны. Почти у всех, кого расстреливали вместе с детьми и кто при этом случайно остался жив, рука изуродована. Та, которой закрывали, прижимали к земле голову ребенка. Человек упал рядом с убитыми, успел упасть живой с живым ребенком, их заливает ужас, заливает кровь мертвых. Не двигаться, не шевелиться, что бы ни происходило!.. Но ребенок, он хочет встать, сейчас он заплачет, закричит! И его держит, прижимает к земле

рука отца или матери, просит, умоляет молчать, не звать смерть… А смерть уже подошла, смотри! в упор, целится. Стреляет в головку ребенка – и в руку, которая защищает, прячет круглую теплую, как летняя земля, головку…

Звук все ломается надвое, натрое, уходит вдаль и все считает, считает… Я посреди несуществующей деревни, слушаю, как чьи то голоса считывают с невидимых таблиц имена, фамилии сожженных людей, названия убитых деревень. Названия городов и вполголоса произносимые цифры тысяч замученных в концлагерях: восемьдесят тысяч… сто восемьдесят тысяч… двести пятьдесят…

Солнце щекочет веки, пытается их, раскрытые, раскрыть.

Когда то я любил смотреть на солнце закрытыми глазами: сквозь живую плавящуюся красноту век. Сесть где либо, или вот так стоять, или идти тихонько против солнца и смотреть на солнце, окрашенное моей живой кровью и, точно от моей крови, теплое.

Теперь мои веки черные, и лишь искры боли проносятся по черному, всегда горячему небу…

Считающий печные трубы звук Хатынских колоколов уже за спиной у нас, мы уходим, а он остается, но снова догоняет, дробится, спрашивает: *«Так вы по ня ли?.. Так ли вы по ня ли?.. Вы по ня ли?.. По ня ли?..»*

Три шага – и ступенька. Три шага – и мы на ступеньку удалились. Я уже опустил палку, она звякает о плиты непривычно громко, нужно время, чтобы снова звук этот стал обыкновенным. Всего лишь стук металлической палки о камень. Я куда то иду, и ничего больше…

Но есть ли теперь в мире что либо, о чем можно сказать: и ничего больше?

Звук позади делается слабее, а моя палка, наши шаги,

голоса идущих – громче, привычнее.

– Ну, дальше поехали? – молодой голос, нашего шофера.

1966, 1968 – 1971

1. Кривза – жердь для переноски копен сена (слово заимствовано из литовского языка)

2. Брестская область, Малоритский район

3. ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 148, ед. хр. 2 л., 225-227

4. Буяки – голубика (бел.).

Падрыхтаванае на падставе: Алесь Адамович, Хатынская повесть, — Мінск: Мастацкая літаратура, 1974.

Повесть (Государственная премия БССР 1976 г.), родившаяся из документов, реальных впечатлений, рассказов свидетелей траге¬дии тысяч белорусских деревень, в которых фашисты чинили неви¬данное зверство, — это повесть о силе человеческого духа, повесть-предупреждение в наше тревожное время, когда человечество прибли¬зилось к той бездне, которая может поглотить все живое.